

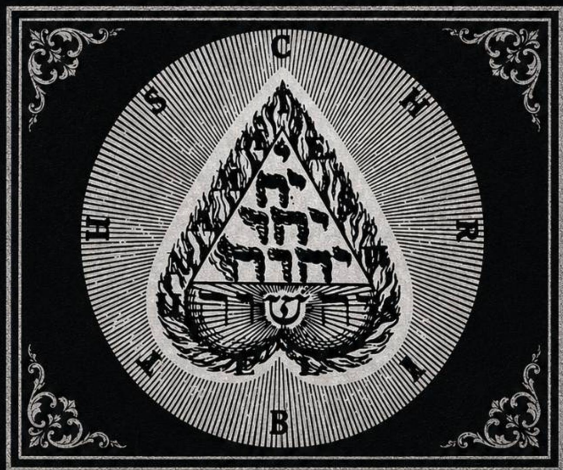
ИОГАНН РЕЙХЛИН

О ЧУДОТВОРНОМ
СЛОВЕ

(De Verbo Mirifico, 1494)

О КАББАЛИСТИЧЕСКОМ
ИСКУССТВЕ

(De Arte Cabalistica, 1517)



Виталий Богачев

О чудотворном слове, о каббалистическом искусстве

<https://litres.ru/74117271>

SelfPub; 2026

Аннотация

Впервые на русском языке публикуются два трактата Иоганна Рейхлина — классика оккультной и герметической литературы, понять всю последующую традицию христианской каббалы и учёной магии Возрождения.

Написанный в 1494 году в форме беседы язычника, иудея и христианина, трактат впервые соединил флорентийский неоплатонизм Марсилио Фичино и каббалистические тезисы Джованни Пико делла Мирандолы (с которым Рейхлин встретился в Италии в 1490 году) с живым знанием еврейских первоисточников. В центре книги — учение о силе священных Имен Божьих и знаменитая догадка о четырёхбуквенном Имени **יהוה** (Тетраграмматоне): вписав в него букву «шин», Рейхлин получает Имя Иисуса — изрекаемое «чудотворное слово».

На эту книгу прямо опирались Генрих Корнелий Агриппа в «Оккультной философии», Парацельс, а позднее Роберт Фладд и вся розенкрейцерская традиция. Именно Рейхлин сделал каббалу

частью европейской мысли об именах, числах и тайных силах слова.

Содержание

ИОГАНН РЕЙХЛИН	5
О ЧУДОТВОРНОМ СЛОВЕ	6
De Verbo Mirifico	6
Конец ознакомительного фрагмента.	158

Виталий Богачев
О чудотворном слове,
о каббалистическом
искусстве

ИОГАНН РЕЙХЛИН

О чудотворном слове

(De Verbo Mirifico, 1494)

• • •

О каббалистическом искусстве

(De Arte Cabalistica, 1517)

Перевод с латинского

Виталий Богачёв

О ЧУДОТВОРНОМ СЛОВЕ

De Verbo Mirifico

Похвальное слово в честь красноречивейшего и в трёх главнейших языках искуснейшего мужа Иоганна Рейхлина Форценского, посвящённое книгам о Чудотворном Слове, недавно им изданным; посвятительное послание Конрада Леонтория Мультбруннского.

Конрад Леонторий Якову Вимпфелингу шлёт нижайший привет.

Едва я расстался с тобою в Майнце, как тотчас на себе самом испытал ходячую у наших галлов пословицу: «С другом никогда не насытишься — ни при нём, ни без него». Ибо, будучи при тебе, я не воспользовался тобою вдоволь, как того требовала наша дружба, — что случается со всеми любящими, которые при расставании чувствуют, что многое упустили из того, что задумали сделать или сказать.

Но что я упустил, то возместят письма, обменом которых да буду я почаще с тобою. Беседовали мы о книжке славных мужей господина Шпонгеймского, которую, как ты говорил, отдали в печать в Базель. Спросил я о докторе Иоганне Рейхлине — включён ли он туда; когда же ты в том усомнился и стал отрицать, я подивился. Ибо кого мог бы ты

почесть в наше время более прославленным всяким родом учёности, будь он тебе вполне близок и знаком, — не сыскал бы ты никого. А потому не без великой обиды и урона для германского имени обходят его вниманием даже аббаты твои. Ведь он искуснейший толкователь трёх языков: греческого, еврейского и латинского. Прибавь ещё и достаточное знание галльского, которое он вполне усвоил, отдавая в Орлеане силы изучению права. В юности он перевёл множество речей, из коих иные, если не ошибаюсь, суть речи Цицерона. Сложил он многие и приятные стихи, написал множество эпистолярных рассуждений, которые начинил также изречениями греков и евреев. А чтобы проникнуть в сокровенные догматы евреев, он многие годы усерднейше трудился, и так перебрал всю их библиотеку, что нелегко сыщешь еврея, которого мог бы ему противопоставить. Побуждаемый этим великим и счастьем, и обилием учёности, он взялся написать диалог, который озаглавил «Капнион, или О Чудотворном Слове», — красноречивее и удивительнее коего я не видел ничего. Делится же он на три книги. Первая под именем Сидония раскрывает все тайны философии. Вторая выводит иудея Барухию, разъясняющего все те таинственные и знаменательные имена и многое иное из еврейских учений. Третья вводит Капниона, из предпосланных двух книг подтверждающего и доказывающего христианскую веру, где он все чудотворные слова так прилагает к имени Иисуса, что показывает: то неизреченное четырёхбуквенное имя (Тет-

-орграфамматон, ןװײַ) сделалось ныне изрекаемым. Если чтёшь этот диалог, ты подтвердишь, что никого — ни философа, ни иудея, ни христианина — нельзя по праву предпочесть Иоганну Рейхлину. Не выставить такого мужа против всех италийцев было бы для нас вечным стыдом. А потому, мой Яков, поскольку я собираюсь в Аугсбург и не знаю, когда доберусь до Базеля, я желал бы, чтобы ты с величайшим тщанием и усердием написал печатнику Иоганну Амербаху, дабы он в каталоге назначил Иоганну Рейхлину Форценскому подобающее место. Будь здоров, мой любезнейший Яков, весел и счастлив. В Шпайере, за одиннадцать дней до майских календ, 1494 года.

ПРЕДИСЛОВИЕ ИОАННА РЕЙХЛИНА ФОРЦЕН-
СКОГО К КНИГАМ «КАПНИОН, ИЛИ О ЧУДОТВОР-
НОМ СЛОВЕ».

Некие любопытные испытатели сокровенных вещей, о брат по Каммерату Дальбург, святейший предстоятель вангионов, — те, кого влекут и скрытые силы слов, и потаённые энергии звуков, и начертания (знаки) божественных таинственных имён, — в наш век (насколько мне представляется, что вижу верно) немало, как обнаруживается, отступают от древнейших следов первенствующих философов и в полнейших таинственных действиях, творящих чудесные последствия, надеждою и во многом заблуждаются, — и по той преимущественно причине, что, — либо стёртые брэнною тьмою начертаний, либо превратные и испорченные небре-

жением переписчиков, — те символы священной оной философии и досточтимые печати сверхъестественных сил не то что понятыми, но и прочитанными быть не могут. Оттого весьма многие, поражённые скукою и бесплодным, напрасным утомлением, столь похвальный род созерцания либо в ужасе бегут, либо, пренебрегая, давно уже покидают начатое.

Оттого, движимый неким невероятным рвением угодить и чрезмерной любовью к единственному светочу всякого благородного искусства, — к превосходному Иоганну Лапидану, доктору богословия, славному как монашеской картезианской жизнью, так и изданием книг, и первому, чьей указке я вручил свою руку, наставляемый в изящных упражнениях, — прибавлю ещё и мужа, сведущего в обоих правах и украшенного изысканной словесностью, издавна связанного со мною дружбой, Себастьяна Бранта Аргентинского (Страсбургского); и равно превосходного дарованием, славного дивным искусством резать литеры и сведущего в разных науках Иоганна Амербаха. Оба они среди учёнейших мужей учёной республики славнейшие, так что не знаешь, чем они более знамениты — молвою ли о делах или гражданством. Ведь они в Базеле среди первейших граждан пользуются немалою славой. Итак, побуждённый движением таких мужей и великими узами дружбы, дерзнул я войти в столь великий мрак и в столь затемнённые убежища священнных, более того — тайных слов, и как бы из святилищ оракулов и

сокровеннейших глубин древнейшей философии изложить столько, сколько в наш век доступно нашей памяти. Почти все имена, которыми в прежние времена пользовались в священнодействиях мудрые мужи, наделённые чудотворными действиями, — будь то пифагорейские и древнейших философов таинства, или еврейские и халдейские варварские речения, или благочестивые моления христиан, — которые из их книг и языков можно видеть в сём труде извлечёнными. Я потому посвятил это твоему имени, что священное подобает священному, и особливо священства — предстоятелям священников, каковым саном ты превосходишь прочих, — не только ради величия власти твоей и могущества, коими ты преизобильно богат, но также ради несказанного знания разнообразной словесности, чему свидетельница та твоя библиотека, наполненная латинскими, греческими и еврейскими томами, — единственное сокровище нашей Германии, коим я всегда обыкновенно пользовался по влечению души моей. Итак, прими рассуждение трёх философов о Чудотворном Слове, коих я вывел спорящими (ибо их к тому вынуждало прение школы со школою), дабы яснее воссияла сокровенная особенность священных имён. О коих, из столь многого числа и столь великих, да представится нам наконец более лёгкий случай избрать одно — поистине высочайшее, чудотворное и блаженнотворное. А чтобы ты в кратком изложении узнал всё дело: Сидоний, поначалу почитаемый вышедшим из школы Эпикура, а затем оказавшийся не по-

клявшимися ни в чьи слова, философ всесторонний, из жажды учения отправляется в чужие края; после многого, вступив в Швабию, встречает двух философов в городе Форцен — иудея Барухию и христианина Капниона, — с которыми рассуждает о разных науках, а вскоре и о самом знании божественных и человеческих вещей: о мнении, о вере, о чудесах, о силах слов и начертаний, о тайных действиях и таинствах печатей. Таким образом, у всех народов, которые обладают какою-либо превосходной философией, священные имена и освящённые начертания входят если и не в

чуждые благородству обряды, то в рассмотрение; производится тщательное перечисление символов у каждого по обряду его школы, откуда Капнион в третьей книге, наконец, едва из всех священнодействий не соберёт всё под единым именем Иисуса, к коему возводится сила, или могущество, всех священнодействий, — которое всегда и превыше всего благословенно. Но теперь послушаем самого Сидония.

«КАПНИОН, ИЛИ О ЧУДОТВОРНОМ СЛОВЕ»
ИОГАННА РЕЙХЛИНА ФОРЦЕНСКОГО. КНИГА ПЕРВАЯ.

СИДОНИЙ. Если что-либо во всей человеческой природе и есть где-нибудь, друг Барухия и ты, Капнион, — оба вы предел и цель невероятного моего стремления и прибежище издалека преследующего меня восхищения (ибо лишь при вас, велящих и внимающих, люблю мне говорить безбоязненно), — что рождало бы нам непрестанное наслаждение,

то, полагаю, состоит в одном-единственном: почти ни в чём ином, как в том, чтобы воспринимать самые вещи новыми ежедневно и чуждыми нашему чувству — то ли в иное время, то ли иначе, нежели прежде они ощущались. И это душу нашу, жадную до приятности, всегда неким удивительным знамением недавно возбуждает к желанию испытать и толкает на дело, сколь бы трудным оно ни было. Оттого я легко поверил бы, что не только праотеческий род мой (который был знаменит на протяжении многих веков и ныне славится опытностью во всех вещах), но и всю Сидонию, откуда мне и имя, и происхождение, и даже всё отечество к сладостным, однако тяжким трудам подвигла либо отрадная новизна, либо изумительная древность. Ибо издревле привыкли финикийцы предаваться сверх всякой меры и исследованию разных краёв, и изучению новых вещей; они собственным своим усердием первыми изобрели буквы, благодеяния которых поместили у греков — мужей, быть может, не неблагодарных. И, изыскав искусство чисел, они измерили землю и небеса. Равно и в естественных, и в военных искусствах они опытнейшие. Наконец, всегда этот народ видел и нравы многих людей, и города, — дело, доставившее ему в большей части земель славу и превыше прочих великую честь. Ведь пользуясь миром, я, быть может, чрезмерно хвалю предков моих, — но побеждает любовь к отечеству; тем не менее сама истина себя выдаёт. Ибо и то учение об атомах принадлежало некоему древнему земляку мо-

ему, сидонянину, по имени Мох, и притом ещё до Троянских дел; чтобы вы знали, сколь трудолюбием, сколь дарованиями и исследованием многих предметов превзошли финикийцы, — что не осталось скрыто даже от Лукана, скорее историка, чем поэта, так воспевающего: «Финикийцы первыми, если верить молве, дерзнули незаблемый голос запечатлеть грубыми знаками. Ещё не умел Мемфис ткать речные папирусы, и лишь на камнях птицы и звери, изваянные животные, хранили волшебные наречия». Итак я, жаждущий памятников славы и следов, достойных подражания, к коим (как обыкновенно бывает от природы) привело меня наконец и течение отеческой крови, уже немало лет провёл среди многих морей и земель, разыскивая наилучших мастеров слова и дела, дабы отсюда услышать, что должно говорить, а оттуда усмотреть, что надлежит делать. Ибо не довольствовался я одним лишь отечеством моим и всею окрестностью Триполиса, как наставницею разных, а вернее — всех искусств, которая ныне начала терзаться варварским обычаем. Но я ушёл, удалился, вырвался, устремился дальше: странствуя за Ливаном и Сирией более, нежели тот Менелай, который гостей своих Телемаха и Писистрата этими стихами о странствии своём известил. Немало я претерпел, и, среди многих опасностей прибывая на кораблях, восьмым трудом за год едва достиг Кипра, а после

Финикии и египетских полей, оттуда — через эфиопов, и сидонян, и эрембов, «И Ливию, где рогатые тучнеют и агн-

цы». Так не было мне недостатка в труде среди столь долгих превратностей тех же самых странствий, покуда, оставив сперва Британию, затем Галлию, и далее, при водителе Рейне, не был мне открыт путь в Германию, — чтобы обоих вас, мудрецов, увидеть и удостовериться скорее очами, нежели слухом. Ибо я так переиначил бы оное Плавтово изречение: «Один свидетель ушей стоит больше десяти очевидцев» — особенно при познании людей-философов, каковыми, по повсеместно прославленной молве, я вас признал. И, дабы позволено было первому сказать о тебе, Капнион, — коего я по разным надписаниям книг и таблиц твоих счёл родом форценским, — покуда я не раз и подолгу дивился, что не о чём ином, как о лесной философии, рождает Швабия, — были у меня некие спутники в пути, вместе со мною ревнители сокровенных искусств, которые отвечали, что не столь уж трудно поверить, будто эта суровость может породить некое превосходное дарование, поминая некогда регенсбургского предстоятеля, по-гречески Полифема, а по родовому имени — Альбрехта, прозванного Великим, который дерзнул превзойти не только Аристотеля, но и других первейших последователей перипатетической философии, и всё же в Швабии и рождён, и вскормлен. Что я и сам признал за истину. Ибо я уже читал несколько замечательных книг, написанных этим мужем по-латыни и ради их особого превосходства сверх обыкновения переведённых на греческий язык. Наконец, они привели немаловажные, непустые доводы, по-

чему следует верить, что ваши земляки легко переселяются в дальние края — и по скудости пропитания, и по тягости возделывания полей, и по недостатку денег. Прибавлю я снова и то, что край тот, непривычный к обильным жатвам, не может ими изобиловать; посему для переселяющихся швабов, полагаю, всегда будет вдоволь наилучших наставников, ибо к наилучшим местам должно переселяться тем, кто бежит бесплодных. Итак, что ты силён учёностью, красноречием, советом, — это не оттого, что ты рождён из леса, который некогда звали не то Бакенским, не то Оркийским, а ныне зовут Чёрным. Но, как слышу от твоих, — оттого, что ты обошёл не только древнюю Лутецию паррисиев (Париж), но и почти все училища Галлии и Германии, некоторые училища Италии и Рим, главу учения; и мне представляется, что я вижу, как пригодность форценской земли немало сообщает дарованиям её уроженцев, — а что это истинно, доказывает великое множество учёных мужей, оттуда происшедших. Ведь не намного меньшую силу над прирождённым состоянием имеет отечество, нежели сам отец, если верить Порфирию. Вот вы и получили довольно длинную речь пришельца и странника, который берётся рассуждать о вашем крае. Но чтобы вы не сочли меня нерадивым исследователем того самого места, откуда одному род, а другому — бегство, будет весьма кстати, если я не умолчу и о том самом, что в Финикии я узнал от учёнейших писателей о древних памятниках. Ибо в Трое некогда — не столько на войне, сколько

в сражении — Форкий Младший, как известно, был вождём фригийского войска, по свидетельству Гомера, который в перечне кораблей так говорит: «Форкий тот был вождём фригийцев, и Асканий». И вот, когда по враждебной судьбе пал Илион, те, кто сохранил жизнь, из бесчисленных немногие уцелевшие, вынуждены были искать себе иных обиталищ и уповать на иные царства. Итак, Эней с Асканием, товарищем опасностей, и с Форкидом, а также со многими прочими, направляются в Италию. Но когда Асканий у Альбанской горы основывал город и всякий назначал себе иное место для житья, тот Форкий Младший — внук от Эвриалы, потомок Форка Старшего, который был царём Сардинии и Корсики и, как повествуют, был некогда побеждён Атлантом и погружён в море, — прошёл через Италию и земли инсубров, вступил в Германию и, переправившись через огромное озеро между истоками Истра и Рейна, через более лёгкие места и горные равнины направился навстречу заходящему солнцу. Там он набрёл на прозрачайшую и рыбную реку, а на берегу её — на убогую хижину; к ней, влача усталые стопы, спешил некий старик, отягчённый годами и весь опирающийся на посох; он, когда

увидел, что Форкий в столь пустынной роще шествует со столь многочисленную свитою, устранился и полагал, что едва не испустит весь дух. Форкию же, спросившему, как он зовёт этот поток, старик сам ответил, что имя ему — Эней (Aeneas). Тогда, поражённый этим именем, Форкий, обра-

тив лицо к реке, тотчас прибавил: «Не тот ли ты Эней, которого Дарданийскому Анхизу родила благая Венера у волны фригийского Симоента?» Каковые стихи впоследствии Марон (Вергилий) перенёс в свою «Энеиду», прельщённый чужеземной древностью. Здесь-то он и принял знамение и жребий, что пришельцу должно остаться, и стал увещевать своё множество не пренебрегать божественным оракулом, который он усмотрел в имени троянского предстоятеля. Ибо для тех, для кого престарелый Эней был оставлен на немалых расстояниях, тем самым ясно являл себя иной Эней. Итак, фригийский вождь, и духом, и по царскому обычаю, повелел своим, чтобы каждый по мере сил своих, выкорчёвывая отовсюду стволы деревьев, из пустыни сделал полевою пашню. И в этом месте он воздвиг небольшой город и крепость, которую по имени своему и деда назвал Форцен. Столь велика была любовь Энея к тому важнейшему, святейшему и всякой хвалы и чести достойнейшему мужу, что о золотом Энее говорили, будто ему должно восседать у самого очага, — словно он избрал сие как вечный памятник троянскому Энею. Итак, с течением времени, когда из небольшой семьи народ сделался многочисленным и теснота начатого жилья принудила рубить окрестные леса, возделывать пашни, строить сёла и выводить города, — говорят, что он, помимо стольких сельских и городских, основал там ещё и многие иные города, каждый из коих отметил особыми именами — как матери, так и тёток своих — ради вечной памяти о роде; каковые

имена частью стремится истребить прожорливая древность, частью — исказить бесчинство варваров. Ибо что некогда звалось Эвриалой — ныне Аврелий; что прежде Стено — ныне Штайн; что Скилла — зовётся Шелль; что некогда Медуза — то в прежнее время преобразилось в новую крепость (Нойенбург). Так Горгоны Форкиды (о коих широка молва и древнейшее упоминание) сохраняются на этой плодородной почве, в этом отрадном месте, в борозде сего города Капниона, то есть в борозде твоего рождения, в вечно пребывающей на все века человеческой памяти. И дабы не осталось также и потомкам без долговременного памятника Асканию, товарищу и сотоварищу его возвращения, — он взялся, по образцу того города, который тот же Асканий очерчивал у Альбанской горы, и сам себе выстроить нечто, что равным именем назвал Лонга-Альба (Длинная Альба). Имя это и поныне сохраняется в двух милях от Форцена. Так вы видели, что я рисую картину вашего происхождения на манер Эвдокса, словно некую мореходную карту, дабы она привела нас к тому познанию: можно поверить, что столь великие мужи, во всякой учёности изысканнейшие, хотя и разной обители, всё же рождены на одной земле, — беседу с коими более, нежели золото, серебро, жемчуга и всё драгоценное, я издавна с особенным желанием искал: в этих терниях и чашах, в этой самой Швабии, — и обрёл. Ныне же внемлите, зачем я сюда пришёл. После искусств говорения, красноречия и рассуждения, в которых я был посвящён под указкою, а затем после

наук счисления и измерения, которые я вобрал более свободным духом, влёкся я восхищением к вещам — как на земле, так и в эфире — к естественным свидетельствам, коими постановил завершить всё течение жизни моей. Ибо о нравах (каковую часть иные почитают частью философии) я мало думал, что должно уделять труд. И не считаю я её достойной чрезмерного напряжения ума, ибо самый нравственный обиход состоит из наблюдения обычая и общего житейского обхождения, которому детей учат угрозы и ласки, а взрослых — кара; немало и прирождённое усердие уделяет самим добродетелям, которые не могут быть преподаны и изучены, но, как того требует установление каждого края, укрепляются. Оттого мы видим, что то, что здесь зовётся добродетелью, в другом месте по мнениям жителей почитается пороком. Так я утверждаю, что право есть не что иное, как то, чего хотят люди: и потому, по моему мнению, гражданственность и правоведение заключаются лишь в убеждении толпы или судьи, — будь то ты достигаешь этого ораторским красноречием или дарами и лестью, лишь бы умиливать того, кто вершит суд.

У Ульпиана, мужа бесспорно сведущего, читается о некоем Барбарии Филиппе, который, будучи беглым рабом, домогался в Риме претуры; и был назначен претором, и наконец исправлял претуру, и было принято, что ничто из того, что раб совершил под покровом столь высокого сана, не отменяется. Тот же важный писатель о состоянии людей оста-

вил потомству следующее: что за свободнорождённого должно принимать даже того, о ком вынесено решение, кем бы он на деле ни был, хотя бы вольноотпущенником, — ибо решённое дело принимается за истину. И Павел, искуснейший из римских правоведов, говорит: ныне, по обыкновению государей, если серебряный светильник внесён в опись как серебро, то и подсвечник считается серебром, а не утварью, ибо заблуждение творит право. Итак, что угодно народу, или государю, или царю, то есть судье, то получает силу — то по обычаю, то по установлениям закона. Ибо, как говорит Юлиан, поскольку сами законы связывают нас не по иной причине, как потому, что приняты решением народа, а народ царским законом перенёс на царя всю власть и могущество державы, — ясно видно, что всё правоведение зависит от одной лишь воли людей; и если она поборница добрых и укротительница злых, то называется благом — и общественным, и частным. Если же наоборот — то злом; почти несправедливо то, что делается с одобрения или попустительства народа. Гесиод в книге «Труды и дни», написав многое о царях, судьях и справедливости, под конец пожелал, чтобы народ часто искупал прегрешения царей, то есть судей. Ведь всех судей не только он сам, но и Гомер и вся древность именовали царями, коих знак — носимые скипетры правосудия. Свидетелем чему да будет против Агамемнона оная знаменитая клятва Ахилла, изложенная в шести или семи стихах «Илиады». Говорю я не перед невеждами, но, как полагаю я

и вместе со мною многие, в присутствии учёнейших и человечнейших мужей, которым небезызвестно, что столь прославленное и общеупотребительное упражнение в праве, — и стяжателями за огромную цену выторгованное, и советниками в тяжбах почитаемое едва ли не более чем божественным, — вернее оценивается как не имеющее никакого, даже среднего значения, словно некое ремесло скамеечника или сапожника; в особенности для человека, охотно устремляющего высшую хвалу к вещам высоким и достойнейшим, а не дивящегося скорее любым бранным, преходящим, текучим и пустым игралищам славы, красоты, богатства и возраста. Приведёт (если хотите) в свидетельство этой речи важный и святой свидетель и весьма добрый поручитель — Цицерон, который перед судилищами дерзнул защищать моё мнение в том деле, даже при внемлющем и несогласном Сервии, который тогда почитал себя знатоком в гражданском праве. Молю тебя, Капнион, о ком говорят, что и ты в мастерской того же ремесла потел вплоть до венка и лавра: какое украшение, какое достоинство, какая приятность, какое восхищение заключено в этом поприще, которое зависит от столь ничтожного людского мнения, поглощённое каждой строкою и словесными знаками препинания? Которое всеми — не говорю только простолюдинами, но и знатными — провозглашается основою всякой распри, опорюю неправд, разжиганием ссор и питанием несправедливости; которое ставит себе целью одни лишь пустые звания должностей, полные ежеднев-

ного страха почести, наёмнические прибытки и богатства, коих не должно желать ни одному мудрецу; и потому явно навлекает на своих служителей вражду многих, у коих перед глазами столько Антониев, столько Катилин, и не дают душе, ищущей покоя, быть спокойной. Далее, нетрудно понять: то, что соблюдается не всеми, — то, что не повсеместно соблюдается, — то право воспрещает считать правом. Так зачем же мне столь дивиться тому, что наравне со мною ведет всякий мясник, повар, портной, рыбак, птицелов, охотник? Великим ли вам кажется знать название всякого закона и прилагать его ко всякому случаю? Отчего не оцените вы более благовонщика, которого от «складывания» (*reponere*) зовут аптекарем, за то, что он знает всю утварь своей лавки — сосудцы, коробочки, кувшинчики, чаши, ковши, склянки, благовония, притирания, снадобья? Или сапожника — за то, что он помнит, как всякой ноге приладить любую колодку, и вместе не забывает шила, иглы, ножницы, напёрстки? Всему этому учит опыт, упражнение, необходимость и нужда в насущном, а порою и дочь их — тупая голодуха — принуждает. Кто научил попугая его «*chaere*» (хайре — «здравствуй»)?

Чему научила живопись наши слова пытаться? Чрево — наставник в искусстве и податель дарования — есть тот мастер, что понуждает следовать за отказанными было голосами, как говорит оный Сатир. Итак, поскольку учатся не ради самого учения, но ради ежедневных нужд человеческого пропитания, ради земных вожделений, чуждых челове-

скому уму, — то каким же образом присоединю я это к священнейшим членам философии, без коих она может казаться увечною, — так что лишённого ноги зовут хромым, а лишённого языка — немым? Оставляю сие, ибо не ведаю, какая буря, какая волна занесла меня сюда. Возвращаюсь туда, откуда отступил. Ведь всё течение жизни моей я положил завершить в созерцании вещей естественных, из коего одного и рождается то, что мы поистине можем назвать наукою. Всё же прочее — либо орудия науки, либо дисциплины исчислений, либо обиход общепринятого мнения, либо вымыслы помышлений о вещах, которые мнят пребывающими вне тела и материи и потому зовут простыми; и хотя таковых нигде нет, всё же есть род людей, что не насыщаются знанием, черпаемым из вещей, предлагающих себя нашему чувству, — знанием, которое не может ни обманываться, ни обманывать, — но обременяют ум размышлением о неких тончайших состояниях и отделённых формах, которые, поскольку в природе их нет, но полагают их сущими превыше природы, оттого и зовут метафизикою. Я же рассуждаю об этом не с тем, чтобы обличить мужей учёных, будто их следует порицать, но чтобы на равных весах взвесить, из какого источника черпается знание и какою тропею оно движется. О чём дозволю говорить Аристотелю твоему, превосходный Капнион, в чьей палестре, как передают, ты весьма усердно упражнялся и оттуда, по окончании гимнического состязания, вынес знатную тиару и золотые перстни. Ибо Барухия сей, как

слышу, более следует Пифагору и всякому иному Магу, если кто жил древнее его. Итак, оный Стагирит во второй книге «Второй аналитики», почти под самый конец, изложил такое мнение, которое, как полагаю, немало сюда подходит. Внемлите оба, если сумею я довольно ясно изъяснить по-латыни. Ибо, как вы знаете, Аристотель и по-гречески чрезмерно сжат, и тёмн, и даже шероховат, и не желал быть понятым никем, кроме своих. Слова его таковы. Из чувства произрастает то, что зовём мы памятью; из памяти же, часто удержанной об одном и том же предмете, рождается опытность. Ибо из многих числом памятей — одна опытность. Из опытности же, или из целостного, покоящегося в душе всеобщего, извлечённого из многого о некоем едином, — из того, что во всех единичных пребудет одним и тем же, — рождается начало искусства и науки. Слышали вы Аристотеля; ему не вовсе несходно и то, что некий поэт Афраний и остроумно, и рассудительно, и не менее правдиво в книге, надписанной «Кресло», о происхождении наук изрёк в сём стихе: «Меня породил обычай, мать родила — память». Итак, тем, кто намерен обрести знание, надлежит пользоваться членами тела и орудиями чувств, без коих доводится не ведать всего. Ибо ни слепой не знает цветов, ни глухой — стихов, мер или ладов кифары. Стало быть, необходимо, что постигать мы можем лишь вещи телесные, коль скоро от тела то, что есть тончайшего, неким непрестанным током истекает к скважинам наших чувств; затем то же самое, при непрерывном дви-

жении и отринутом покое, само воображение вводит в свой чертог, где формы вещей блистают в разумении человека, — как от стоячей волны луч в зрачок; ибо все тела и истечения тел телесны. Оттого мне представилось, что вернее сказал Эмпедокл: подобное подобным познаём. И нет ни промедления, ни какого-либо роздыха в истечении. Ибо непрестанно мы ощущаем, как говорит Лукреций, — ведь и различные чувства присущи одушевлённому, из коих каждое воспринимает в себе свойственный ему предмет. Почему свойственный? Ибо прочие либо обманывают, либо обманываются, — те, о коих мнит иной, что знает их, не подкреплённый никакими чувствами. Но, право, опасаясь, как бы не поднести вам слишком чужеземного, тщится вернуть меня оный проныцательный толкователь Эпикура: «Более того, — говорит он, — наибольшая часть их обманывает — из-за домыслов ума, которые мы сами добавляем, так что за виденное принимается то, что чувствами не видано. Ибо нет ничего превосходнее, нежели видеть вещи явные». Того не разумеют те,

кто силится взойти превыше природы и низвергается в теснину, откуда не могут отступить назад; кто, помимо стольких рождённых вещей в столь великой громаде сего мира, всё же ещё потеет над вымыслами — над так называемыми нагими сущностями и видами вещей, над божественными неподвижностями, над субсистенциями, над первыми достоинствами разума, над началами, над простейшими, бес-телесными субстанциями божеств, обитающих вне небесных

обиталищ и ведущих там некую наилучшую жизнь; всё это, по свидетельству поэтов, как усладу для слуха и утешение нашей жадности среди разнообразных занятий, всегда с величайшим вожделением, отыскано неким особым и красивым искусством вымысла. Да будут здравы все, кто помышляет о таких богах и божественных вещах, — да отходят ко сну, да спят всю ночь напролёт. По суждению Гомера, одного лишь Иова да не коснётся сон, — как будто прочее пренебесное есть ничто. Он один и может существовать, но о нём мы, однако, явно ничего не знаем, а лишь мнимся грезить; на что довольно благоразумно, как мне кажется, намекает тот же поэт, когда описывает, что сон, посланный Агамемнону, был вестником Иова. Ибо всё, что мы познаём об Иове, весьма подобно сновидению. А что нам мыслить о достоинствах, о началах? О коих небезосновательно перипатетики, за коими ныне и особенно вся Германия, и притом за ними одними, презрев прочих благороднейших авторов, следует, утверждают, что нет о них науки, ибо они известнее всякого знания и доказательства, поскольку от них зависит всякое знание, а у начала нет начала, ибо само оно прежде всего. И всё же не подобает быть неведомым тому, чем всё освещается, является и познаётся. Откуда же познаём мы начала? Из чувства. Слушай снова Аристотеля твоего, Капнион, в первой книге «Топики», где он говорит: «Если кто пожелает усомниться, всякий ли снег бел или нет, — тот нуждается в чувствах». Итак, вера, которая у нас, знающих, происхо-

дит из начал, вся зиждется в вещах, подлежащих природе и чувству; посему ничто из того, что не было сопряжено с телом и материей, по праву не заключается в пределы науки. А если это так, то довольно будет одного познания вещей, которое греки привыкли звать физикою, а вы — естественной философией, — того познания, что исследует и разведывает условия того, что поистине есть и без покрова нами воспринимается, и их причины, следствия, времена, места, образы, события, целостности и части. Отчего дрожь земли, какую силою вздымаются высокие моря, когда прорваны преграды, и вновь оседают в себя самих; различные затмения солнца и труды луны; откуда род людей и скотов, вместе дождь и молнии, Арктур, Плеяды, Гиады и двойных Трионов; отчего спешат зимние солнца погрузиться в столь великий Океан, или какая помеха преграждает медлительные ночи. Всё это объемлет природа-созерцательница, физика, коею во весь свой век дивным образом могут услаждаться все учейшие. Ради неё, о чём вы слышали от меня прежде, я странствовал по многим краям и сквозь опасности мест, дабы видеть дивное в природе и хотя бы слухом воспринять; и в самую Индию я отправился, чтобы, если возможно, увидеть воочию то, что там, хотя редко, но иногда, как передают, зримо являлось, — чудовищное и подобное диковинам: мартикора, золотую воду, магнитный камень, пантарб, пигмеев, скиаподов, тигра, птицу Феникс, жемчужины, а равно и ихтиофагов, рыбаццев. Затем — через Африку, дабы узреть народ,

у коего вместо царя пёс, по движению коего они гадают себе о власти. Опускаю прочее, на что мог я лишь надеяться, но не узреть: одноглазых владык, антропофагов, кинокефалов, псоглавцев, из коих наибольшая часть — баснословна. И об источниках и реках частью правдиво то, что говорят, частью же приукрашено вымыслами. В Асфальтовом озере воистину родится смола; но что будто в том Иудейском озере ничто не тонет — то порою обнаруживается противным. В Додоне источник Иова и угасшие светочи возжигает, и возжжённые гасит. Источник Аммона днём холоден, ночью же горяч. Остров, лежащий против Тимава, изобилует тёплыми источниками в самом море, которые с морем прибывают и убывают; сие я сам испытал вместе с людьми тергестинскими. Линкестийская вода, наподобие вина, опьяняющей

делает. Более того, и у ваших народов Швабии, над рекою Филисий, у города Гёппинген, источник течёт как бы со вкусом вина. Скорее покинет меня день, нежели год, если пожелаю я перечислить все чудеса природы порознь, — которые, однако, вам небезызвестны. Ибо, как принял я от учнейших мужей, вы так изобилуете разнообразным опытом и в словесности, и в вещах, что нет ничего ни столь малого, ни столь великого, что ускользнуло бы от вас — либо виденного в местах, либо познанного из книг; оттого я легко заключаю, что напрасно возвещаю вам многое о дивном, ибо то, чему я дивлюсь по новизне, вы, по вашей многоопытности, имеете привычным и повседневным. Но я, без всякого спора, вместо

единственного в Германии чуда ищу вас самих — какую силою, какую учёностью вы, мужи столь важные, столь святыя, столь превосходящие сверх всякой меры все наилучшие о вас свидетельства, каковыми при самом входе, у самых дверей, при начале приветствия, я вас достаточно испытанными почитаю; какова божественная стать ваших лиц, какова прелесть в словах, каково человеколюбие в приёме меня, сколь часто вставляемые речи совершенной мудрости, — что являет вас мужами совершеннейших нравов. Невероятно, сколь радуюсь я наслаждаться вашей беседою, украшенной учёными словами и отточенной речью, и достойными познания и слуха суждениями, — так что столь щедрым, столь великодушным общением с вами я могу облегчить, унять, а вернее — вовсе снять столь многие и столь великие труды, подъятые в стольких странствиях. Тогда, воспламенённый обилием речей, БАРУХИЯ говорит: слушай, Капнион, что отчасти изложил Сидоний. Ибо я легко поверил бы тому, что он о финикийцах великое возвещает, — пусть-ка посмотрят на это те, кто ныне едва ли не весь Восток осуждают за невежество и варварство, утверждая, будто некий скиф или какие-то савроматы, враги человечности и учёности, вторглись в ту область и держат её, так что не осталось бы в живых никого, кто радел бы о науках. Но в какое изумление, Сидоний, повергаешь ты меня красноречием своим! А тот: Равное пребывает во мне, Барухия, — то, что ты столь высоко ценишь. Ибо напрасно ты силишься превознести то, что я сам в себе

познал как ничтожнейшее. И берегись, как бы по справедливости ты не наделил столь тесные мои слова именем красноречия. Ибо что иное выразили мы наконец сею нашей речушкою, кроме как весьма подобающую природу пунийского народа и его дарования, — то, что предают все истории и что явно на виду? Коснулся я и хвалы вашей Швабии, коей вы оба — обильные свидетели пред миром, и не понадобится иного зрелища, кроме вас. Затем, как влечёт привычка многоречивого языка, из уст вырвалось некое исступление, — будто ничто, кроме природы чувственной, не достойно искусства или дисциплины. И если не о неких вещах, как полагал Сократ, то по крайней мере о тех самых, что подлежат природе и открыты чувству, будет главнейшим то, что зовём мы наукою. Ибо о божественном я полагаю, что человеку не даровано никакого истинного познания. Когда речь эту прервал Барухия: Учёнейший Сидоний, — сказал он, — и, как мыслю, во всём наилучший муж, — того, что куда превосходнее, я не ведаю. Ибо некая прирождённая мне почти дерзость речи понуждает меня опередить сего Капниона, мужа досточтимой честности и как бы некое море словесности и божественный образец нашего века, — и оттого его по праву в сём споре следует мне предпочесть. Но древен обычай, что кто более всех заикается, тот более всех и жаждет говорить, и ни для кого поприще речи не открыто более, нежели для невежд; что и со мною случилось, — так что, покуда ты медлишь, я прежде одного мужа общепринятой мудрости

нарушу молчание. Но снеси сие спокойным духом, Капнион. Тогда тот: Но ты продолжай свободно и доведи до конца то, что начал. Итак, сколь много, деятельно и красноречиво о многих вещах ты сказал, Сидоний, — говорит Барухия, — сверх того, что обыкновенно делают наши философы, которые, будто некие галки, целые дни обо всяком деле, с одним лишь варварским шумом, не перестают трещать, но с натужными украшениями, без всякого цвета красноречия и без всякой обязанности оратора, — так что рассуждают не о священной философии, но о низменном обиходе черни, о торгах с молотка залогами, о вакхическом смятении, о ничтожнейшей брани, о поношениях носильщиков, — я же, по старинному обычаю, — если тебя это коснулось и заразило равною порчею, так что не без основания попрекнёшь меня стишком Тиндарея, что у Ореста

в писаниях Еврипида: «Живи как варвар, коль состарился среди варваров». Всё же, как оно есть, охотно и, быть может, нарочно оставляю без ответа то, что ты рассуждал об отечестве, о тебе, о нас самих; ибо опровергнуть первое возбраняет честь нас обоих, второе — твоя знатность, третье — молва всего света; а приумножить речью то, что ты вознёс похвалами, и не в наших силах, — дабы не нести в Афины новое, как гласит греческая поговорка о совах в Афинах. А что до того, что в телах — столь многочисленных и столь разнообразных, ежемгновенно возникающих, подверженных зыби, буре и вихрю, и прилепленных к самой мате-

рии, матери тления, к ежедневному движению и непостоянству, — ты обрёл столько твёрдости, столько истины, что веруешь, будто наука рождается лишь из чувственного, — тому я весьма дивлюсь, ибо ничто не почитаю столь противным чистой и совершенной науке, как это единственное, что ты именуешь чувственным. Полагаю же, что то, что является телу, что, как ты говорил, к скважинам наших чувств притекает неким током, не без неких тончайших покровов, пронизывающих воздух, откуда не достигнут наших тел, — есть само это истечение. Ибо какой луч ума мог бы над сим воздухом, столь подвижным, каковы все природные вещи, что люди ощущают извне, — либо спокойно стоять, либо непоколебимо отражаться, дабы отсюда свершилось в нас столь славное дело божественной человечности или человеческой божественности? Не отрицаю, что есть некое учение, мнение, суждение о таковых вещах. Отличаем мы от воды лёд и судим, что та текуча, а сей долговечнее, — хотя сей вчера произошёл из той, и та назавтра готова растаять в него. Но чтобы могла устоять постоянная и вечная наука о них, — сие я решительно отрицаю; и не только под водительством Пифагора, коего последователем ты меня пожелал сделать, что я охотно приемлю в честь себе, ибо разумею, что Платоном, оным высочайшим мужем и как бы богом философов, ученики Пифагора почитались столь высоко, что он книжки одного лишь Филолая Пифагорейца, хотя и был беден, всё же не перестал покупать за десять тысяч денариев. Но и Ари-

стотель кивает нам в сём деле, чьим покровительством мы счастливо пользуемся. Ибо в первой книге «Второй аналитики», когда он много рассуждал, какой выбор надлежит нам избрать в познании, и кто поистине знает, а кто лишь мнится казаться учёным, он прибавил: «Итак, тому, о чём есть наука в собственном смысле, невозможно быть иным». Что и Платону не чуждо, ибо он, разделив мир на первый — умопостигаемый и второй — чувственный, прибавил, что первый судится умом с разумом, а сей — мнением, не без чувства. Смотри же, за каким Эпикуром ты следуешь, — что из тенистой речи над прахом всё воздвигает. Я же со столь великими покровителями легко одержу верх. Хотя и не должно казаться мне постыдным быть опровергнутым и обличённым тобою, столь великим мужем, единственным по дарованию, учёности и цельности среди прочих, — мне, кому по указу наших предков часто было возбранено касаться философского, хотя бы, как говорят, поверхностно. И оттого Германия питает евреев хотя и благочестивых, но малоучёных, ибо внушают, что ревнителям надлежит скорее страшиться философов, нежели по нерадению или, вернее, по любопытству впадать в заблуждения, коих главными виновниками их и почитают. Но поступил я, как обыкновенно поступают жадные, — так что чем более меня отпугивали, тем горячее я черпал, по удобству обстоятельств, по времени и по разумению моему. Итак, признаюсь, что и Аристотеля я иногда читал, и в Платона заглядывал, откуда и произошло

то, что я тебе прежде привёл. Да и без них это же самое заставило и заставляет меня верить столь великое разногласие всех, даже величайших мужей, писавших о вещах естественных с некою бессмертною себе хвалою, — разногласие, в коем истина устоять не может. Итак, первым делом от ручейков пойдём к источнику. Полагаю, ты и сей наш Капнион не станете отрицать, что всякая вещь познаётся тем способом, каким она пребывает. Ибо если иначе, то обмануло бы мнение, которое являло бы взорам ума иное, нежели вещь есть. Но имеет вселенная, дабы существовать, свои начала, — даже по свидетельству твоего Эпикура и Лукреция, который говорит: «Необходимо, чтобы всё было отделено от начал». И что мир

возник из всякого рода начал: «раздор коих промежутки, пути, связи, тяжести, удары, стечения, движения возмущил, смешивая битвы». Итак, всё равно познаём мы из начал, из коих оно есть, по мерилу и правилу коих зиждется доказательство наук, — как святилище от дверей. У дверей же блуждают: каким же образом поверил бы я, что в святилище будет верный доступ? Но заблуждаются те, кто, не ведая пути, всё же идут. Не ведают те, кто вокруг перекрёстков толпами мечутся туда и сюда, шествуя не одною дорогою, так что сколь удалены от одного, столь же и меж собою разнятся. Хочешь ли, начну с сих финикийцев твоих, — и первых, и столь великих, как ты справедливо счёл, наделённых исследованием всей природы, — и притом с са-

мого Фалеса, хотя и гражданина Милета, но всё же произошедшего от благороднейших финикийцев Кадма и Агенора, который, как передают, прежде всех рассуждал о природе вещей? И если верить Платону, он первым был назван мудрецом. Что же наконец, после бесчисленных своих усилий и неустомимых трудов, ради коих он оставил и государство, и высшие должности, — что, говорю, непрестанно испытывая, обрёл он такого, что было бы достойным основанием сей славной махины, которую мы зрим? Слышишь, каково славное измышление: «Вода есть начало всего». Ибо из воды всё произошло и в воду всё разрешится. Всякий усомнится: если мы вверим суждению Фалеса эту величайшую громаду мира для возведения, то всегда придётся нам страшиться потопов и разливающихся стоячих вод, — ибо природа, по его мнению, как утверждают, подложила эту текущую площадку под свои строения, кои готовы рухнуть при всяком движении воды. Умолчу, сколь против искусства зодчества замысляют строящие, кто для домашней постройки избирает болотистую местность. Но пусть Фалес разумел какую-нибудь реку, или, как я полагаю, некое втеkanie откуда-то, которое могло быть началом и вторичных причин, — которое, как мне кажется, Гомер именует Океаном, где воспел: «Океана, бога-отца, и Тефию-родительницу». Однако от него оный его согражданин Анаксимандр, первый слушатель его учения, а затем преемник в школе, приложив старание, далеко отошёл. Ибо он постановил, что всё произрастает из

бесконечного. Прибавлю и третьего милетянина, и того же твоего земляка, некоего Анаксимена, ученика одного Анаксимандра, который, оставив наставления учителя, вообразил, будто всё рождается из воздуха и в воздух же возвращается. Гераклит Эфесский, презритель философов и насмешник над Гомером, из своих испаряющихся лёгких и горячих внутренностей изрыгнул вещь неслыханную и оставил её записанной тёмными и необычными письменами: будто некая бесплодная стихия, которую зовём мы огнём, всё порождает и в неё же всё вновь возвращается. Напрасно, стало быть, римляне поставили Весту над безбрачием. Наследовал Анаксимену муж знаменитый Анаксагор, некоторое время гражданин Клазомен, а после, ради философии презрев государство и всякое народное достоинство, философ весьма славный; много он приписывал сходному сопричастию, которое почитал и рождением, и причиною вещей. Архелай Афинский, сын Аполлодора (ибо был и иной, некий гомеровский воин), — он полагал, что беспредельный, плотный воздух доставляет всем вещам причину их существования, и потому зовётся физиком. Последовал за ним некое солнце всякой сокровенной философии, от коего сие ремесло впервые получило имя, — Пифагор Самосский, о котором истинно скажу, что он не заблуждался, но разошёлся с прочими. Ибо из чисел он слагает всё. Ту же самую науку он перенял от наших, — древнейшую науку и Сирии, и халдеев, — которую, вернувшись оттуда, украшая впоследствии гречески-

ми словами и изречениями, он возбудил в своих людях столь великое к себе удивление, что они не знали, каким именем его наречь. Не перестаю восхвалять сего князя философов, который не видел предшественника, не имеет второго и коему нигде нельзя сыскать равного. И дабы не показалось, что я себе самому слишком льщу, если превозношу те искусства и мужа, коему ты сам объявил меня последователем, — оставляю восхвалять одного лишь Эпикура тебе, коему я дивлюсь, что он родился в Афинах, а не скорее в деревне.

Сей утверждал, что начала вещей суть неделимые тельца, корпускулы, и пустое место. Но оный Эмпедокл Агригентский исчисляет четыре стихии, из коих рождается всякая вещь: огонь, воздух, воду и землю. Первенствующим же сил — две: вражду и дружбу, из коих сия примиряет вещи, а та рассеивает. Что начал вещей три, учил Платон, ученик Сократа: Бога, формы вещей и материю. Из них первое, что мы ощущаем, — возникающая фигура, а напоследок — прочее. Новейший, при царе Александре Македонском, знатностью искусства славнейший Аристотель, пожелал, чтобы все вещи слагались из материи, возбуждённой к стремлению к форме через лишённость. Все, кто по сему пытался нечто изыскать, на место лишённости поставили некое движение, более действенное для соединения того и другого. Ужели ты, Сидоний, возомнишь, что при столь великом разноречии и распре стольких обширнейших умом мужей своего века (и, чтобы воспользоваться тогдашними привычными именами)

стольких мудрецов и любителей мудрости может устоять надёжная достоверность истины, — особенно когда о началах сражаются в столь чудесном единоборстве, что ты вынужден не знать, кому из них по справедливости и свято должно вручить пальму или подать траву сдачи? Ибо ещё, как говорит Фирмиан Лактанций, не сошёл никто с неба, кто вынес бы приговор о мнениях каждого. Конечно, ты сыщешь неких, кто вместе с тобою одобрит мысль Эпикура; я же — тех, кто вместе со мною не отвергнет догматов Пифагора. Но отвлекает нас выбор нашего исповедания, так что удаляет судей на постоялом дворе, и нас, как небеспристрастных судей, не допускают. Что же тогда? Что назовём мы началами вещей? Поистине, всегда была великая распря меж славнейшими философами, и доныне тяжба под судьёй; посему, коль скоро начала ещё не достоверны, спрашиваю у тебя: какое истинное знание о вещах ты будешь иметь, — знание, которое, как утверждают, произошло из таких начал? Ибо Аристотель полагает, что мы тогда знаем, когда познаём начала и причину каждой вещи и её стихии. И не только это, но и то, что причина именно этой вещи такова, а не иная и не иначе. Перестань же искать твёрдости в вещах преходящих. Жёлуди отдай свиньям, волам — сено, лягушкам и воронам — чувственное предвестие непогоды. Пусть скоты ощущают вещи, подверженные смерти и истреблению, а мы устремимся к высшему и вечным умом объедем не то, что текуче и бrenно под небом, но то, что вечно превышает небес. Ибо не

стану я вбивать в непривычные ещё уши наших людей то, что едва разумеют лишь наиопытнейшие. Ведь они сказали бы, что я отделяю знание от всех вещей, — что было бы истинно о подвластном подвижности природы, ибо мы вместе взираем на вечность знания и на природу — оный стремительный и неустойчивый поток, из коего мы в любое время не улавливаем ничего, кроме мгновения. Ужели же обезумел наш проповедник, кто бы он ни был, — тот, кто написал Экклезиаста, — Соломон ли, или, как многие молвят, сам Исая? «Что было? — говорит он. — То, что будет». И немного ранее: «Род проходит, и род приходит». Ибо как омоешься, если не переменятся дрова для огня? Как напитаешься, если жизненные вместилища не разделят по членам соки из переваренной и претворённой пищи и питья? Скоты — навоз, навоз — помёт, помёт — траву, травы — молоко, молоко же — скот. Всё вращает время, оттого и сказано, что оно, гонясь, гонит рождённое так, как волна — бурю, день — час, а час — мгновение. Поглощает одно, чтобы извергнуть другое. Всегда лепит природа, дабы не пребыть праздною, — как из воска то коня, то льва, а его разрушив — человека. Один переживает другого, и всегда последующий погребает предшествующего. Луцилла истинная, после — другая Луцилла. Секунда Максима, после — Секунда. Фаустина, Антонин, после — Антонин. Так и всё: Целер — Адриана, затем — Целер. Весь двор Августа, супруга, дочь, потомки, зять, Мecenат, жрецы, сестра, Агриппа, родичи, учёные, до-

мочадцы, друзья, врачи. Госпожа всего двора — смерть. И тут ты установишь мне вечное знание, дабы я узнал, живёт ли всякий, кто соткал о них историю? Гиппократ, врачевавший недуги,

О СЛОВЕ

Недуги его были бесчисленны, и сам он умер. Гераклит, обложив себя навозом и огнём, как передают, погиб от водянки под кожей. Демокрита убили родившиеся из него вши — сонмище животных почти мельчайших. Не иначе бывает и в прочем, лишённом души. Ибо бехен в роде растений то дерево, то камень. И о книге, что зовётся у ваших Алькораном, спросят: что было сперва — дерево? И тотчас отвечают: дух. О жезле же Моисея, что был то деревом, то змеей, я поведу с тобою речь немногими словами. Ибо ты не таков, чтобы я, будто кормилицы вопящим младенцам, вкладывал тебе в уста разжёванное. Нет ничего писаного, изображённого или положенного, что укрылось бы от тебя; отчего же мне медлить, когда я помышляю, что нашим дарованиям недостаёт сил вернее исследовать природу, — так что подобному нашему помышлению всегда подбрасывается некая заноза сомнения? А заноза, вонзившаяся в пяту, не исторгается с корнем. Ужели похвалимся мы, что о всяком виде, придающем форму любой вещи, будем судить без ошибки, — мы, что ещё и души нашей не изыскали, хотя дышим, ощущаем, разумеем, а что она такое и каким обра-

зом существует, до конца познаём? О чём не понадобится с тобою многих слов. Ты сам знаешь, сколько существует разноречий об одном и том же, сколько лабиринтов таят они в себе. Ибо Эпикур, коему ты, казалось, подражаешь, говорит, что душа есть смешанный из огня и воздуха вид. Оттуда — теплота, движение и власть ветров окрест. Начинает воздух, и оттуда всё приводится в движение. Ксенофан выводит её из земли и воды, Парменид — из земли и огня, Эмпедокл и Критий — из крови, Анаксимен — из воздуха, Гиппарх — из огня. Критолай-перипатетик говорит, что душа состоит из пятой сущности. Демокрит — что это подвижный дух, вложенный в атомы; Зенон — сгущённый с телом дух; Гераклит-физик — искру звёздной субстанции; Гераклит Понтийский — свет; Гиппократ — тонкое дыхание, разлитое по всему телу; Посидоний — Идею; Пифагор и Филолай — гармонию; Ксенократ — самодвижущееся число; Платон — самодвижущую сущность; Аристотель же — энтелехию: славолубец, он изобрёл новое слово, то есть совершенство формы как бы цель мастера. Речи его о душе как о смертной должно опровергнуть, о чём свидетельствует муж величайшей цельности, славнейший высочайшим среди христиан достоинством, оный Григорий Назианзин в книге против евномиан. Итак, мы, что сами себя не ведаем, — как же уповаем достичь знания о прочем? Сколь велико было множество превосходных писателей, и всё же вплоть до времён Иеронима и Августина не осталось ничего достоверно-

го о душе, на что можно было бы твёрдо опереться; о чём — поскольку ты, как и я, любопытный испытатель всякой школы — ты, быть может, мог узнать из взаимно посланных писем. Ибо о тебе, Капнион, мне нечего сомневаться, что ты следуешь учению Назареянина, коему Иероним и Амвросий, как два светила мира, явились ревностнейшими глашатаями. Итак, вы имеете моё мнение о вещах телесных или сопряжённых с телом, кои неким образом могут подпадать под чувства: и по мимолётности мгновения, в коем они пребывают, — ибо стремительный поток природы тотчас увлекает, ускоряет и изменяет их, — и по неведению начал, и по сокровенным тайникам причин, и по нашему подобному глазам летучих мышей зрению, и по труднейшему обретению ближайших условий, кои Аристотель именует страстями, или претерпеваниями, — человеческое знание о них не может быть ни столь внезапно приобретено, ни твёрдо изречено, ни верно пребыть. Ибо прежде, как гласит мнение Гераклита, вещи меняются, нежели ты присоединишь мыслью их обстоятельства. Вижу, что Эмпедокл устремляется в пламя Этны, и мню, что знаю: Эмпедокл прыгает в Этну, — но сии слова cedятся сквозь зубы: «Эмпедокла нет». И как о том, что уже погибло, скорее подивлюсь я, нежели изреку: более верится видящему, нежели доказывается слушающему. Даже если бы ты пожелал в единый миг изречь то, что жаждешь знать, — как Ликофрон, сын Периандра и Мелиссы, который, дабы не сказать, что человек долгое время бел,

и тем не приписать субстанции постоянство, отнял слова у субстанции, но спокойно назвал человека мгновенно белым. Право, ужели так ты избежал течения мира и стремительного потока природы? Ибо во всякой точке времени, подобно тому как летучая сфера в одном состоянии не пребывает, — всё, что есть, мы отбрасываем как настоящее, и лишь в мгновении, чьё убранство — космос, откуда оно и заимствует погречески своё имя, — заключено сие единственное необъятное разнообразие. Итак, поскольку она всегда в движении, вещь всегда иначе имеет себя, и одно свойство изгоняет другое. Так что и не

сможет луч познания из-за вихря непоколебимо отразиться, и не может быть устремлён свет ума нашего, столько раз перехваченный натиском изменения. Посему справедливо одобрим мы изречение Экклезиаста, где он говорит: «Уразумел я, что всех дел Божиих не может человек постигнуть и не может найти разумения того, что творится под солнцем. И сколько бы ни трудился он в искании, тем менее находит; даже если бы мудрец сказал, что знает, — не сможет обрести». Это и есть то, что, как ты сказал, полагал Сократ, — хотя не того он хотел, чтобы не было никакого знания о вещах (он, что о стольких предметах у Платона рассуждает), но чтобы о естественных не было никакого, о божественных же — величайшее. Есть, наконец, в человеческой жизни весьма известные искусства, коими занимаются смертные, дабы не коснеть, и вместе немало пользы приносящие и государ-

ству, и частному быту: кузнечное, литейное, домоводческое, гражданское, военное, земледельческое и всё подобное, что зависит от разумной воли человека. Ибо то, что совершается по нашему установлению, имеет силу на месте установленного; в этом преступит заблуждающийся, кто не подчинится предписаниям, нами измышленным, — кои мы, быть может, предписали, побуждённые многими опытами, а порою — одним лишь произволом. Всё сие Сократ почитал видимым, а не знаемым. О том же, что было бы необходимо, он судил, что должно испрашивать сие лишь у божества. Итак, тот, кто, по общему преданию, говорил, что ничего не знает, мне представляется познавшим всё не природою, но божественным даром, — почему по заслуге и признан от Аполлона, не человека, но бога (как вы, Сидоний, поэтически убеждаете), мудрейшим. Достало бы нам историй древних, — если только вы уже не утомились, — и наши летописи, писанные о делах наиболее памятных и вещах, достойнейших чтения, дивным образом подкрепили бы то же мнение, ибо они, если верно помним, удостоверяют нас о некоем Гесиоде. Он, будучи пастухом стада в Беотии и близ некоей горы Геликон на восходе солнца выгнав стадо, услышал согласное пение муз со сладостным, как и подобало, напевом, — ибо то были музы. Подойдя ближе, где узрел он оные божественные лики и древнейший хоровод богинь, он стал подражать песни, под которую те плясали в лад. Тогда благосклонные музы, не пренебрегши простотою деревенского человека, поднес-

ли аскрейскому пастуху лавровые ветви и несколько тростин-
нок, приняв кои он внезапно обрёл поэтическое искусство
— не природою, но богом. Не иначе и у Гомера оный Демо-
док, и у критян Минос, коего, как передают, всему научил
Иов, сиречь Юпитер, ибо у него с богом на горе Иде, и при-
том в пещере самой той горы, была частая беседа. Мелеса-
гора Элевсинского афиняне обыкновенно называют научен-
ным от нимф, а Эпименида Критского — наученным божес-
твенно неким длиннейшим сном. Был и в Проконнесе фи-
лософ прежде всего дивного знания, по имени Аристей, о
коем шла молва, что душа его порою выходила из тела и,
узрев дальние пространства, вновь возвращалась в тело. Он
хотя и знал бесчисленное, всё же считался имевшим настав-
ником не иного, как само божество. Так и наш Сократ, муж в
высшей степени совершенный и по свидетельству Аполлона,
как мы прежде помянули, весьма чтимый, — хотя и чуждал-
ся усердия, заботы и попечения о вещах естественных, всё
же ничто в природе от него не укрылось. И это, как утвер-
ждают стоики, выпало ему не человеческим изысканием, но
при содействии бога, коего и сам он называл даймонием, —
был ли то голос, который он слышал, или образ, который ви-
дел, или нечто иное, чем он божественно, по-человечески,
ощущал. Но перейдём от ваших к нашему, что, по моему
суждению, надёжнее. Сама древность, чей авторитет всегда
был в высочайшей чести, — то молвою, то письменами —
передала памяти, что народ еврейский, предки мои, с благо-

говейным почитанием следовали за неким богом, чьё имя, дабы оно от привычки не обесценилось, в народе скрывали, — долгим путём и более сорока лет, через пустынные места, через колючие и тернистые дороги, через горы, через долины, через воды, — за богом, который всё это время сопровождал их с отеческою любовью и взирал на них милостивыми очами, покуда они свято любили его и соблюдали заповеди. Итак, сей бог, каким бы благочестивым именем он ни желал быть наречён, к одному из столь великого множества людей и огромного сонма, — к одному, говорю, Моисею, в коем угодна была ему частая преданность ума, — сошёл в облаке, дабы

придать ему семьдесят мужей, кои и ведали бы различным разумением дела государства, и разными искусствами изъясняли бы, что надлежит делать по состоянию дел. Но поскольку сие не могло совершиться природным усердием, — ибо, как мы выше доказывали, человеческое естество не способно ко всякой столь великой перемене вещей в сём мире, — то от того духа, которым он прежде вдохнул Моисея, он уделил и оным семидесяти старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать и более не переставали. О ремесленных художниках равным образом священная история повествует: «Ибо послал Бог дух свой искуснейшим мужам Веселеилу и Аголиаву, дабы они мудро, разумно и со знанием творили всякие работы и изобретали всё новое, потребное для святого святилища». Вновь обращаюсь к ва-

шим писателям. Ибо о Тиннихе Халкидском достойное памяти читается в «Ионе» Платона. Оттуда, право, мне представляется возникшим сие стихотворение Овидия, где он говорит: «Есть бог в нас, есть и общение с небом; из эфирных обиталищ приходит оный дух». Посему, Сидоний, и ты, Капнион, я уступлю даровитым мужам в делах — осторожность, осмотрительность, предусмотрительность; в занятиях — проникаемость, искусность; в рассмотрении всех вещей — вероятное мнение. Но постоянного, чистого и непогрешимого знания о каком-либо чувственном я человеку не признаю, — разве что оно не человеческою наукою, но божественным преданием непрерывно от одного и равно от другого будет воспринято, — то, что мы, евреи, зовём каббалою, то есть восприятием, или принятием. В ней упражнялись, приготовив свои умы, наши предки, коим молва прибавила имя мудрости, — как Авраам, кто бы он ни был, как Симон, сын Иохая, как Авраам второй, по прозванию Алафия, как оный Рамбон, сиречь Нахманид, как Реканатенсис и прочие, многими годами усердные касательно божественной религии, касательно установлений, торжеств, обрядов, гимнов, соблюдения и священных таинств. «Боже мой! — говорит СИДОНИЙ, — сколько не камней только, но и скал влечёшь ты, Барухия, сим огромным потоком речи твоей! Да сгинут те твои предки, что некогда, как ты говоришь, указом пытались отвратить тебя от философии. Ибо что случилось бы с тобою, если бы тебе дозволено было проникнуть в книги

философов, — коль скоро ничего обильнее сей твоей речи и притом воинственнее я никогда не слыхивал, так что каким тараном сокрушить мне ту стену, которую ты противопоставил моим пустым словам, — я не в силах измыслить. И не должно мне сражаться против, ибо столь великими ударами ты затупил мой меч. Итак, умолкну, если наперёд напомним лишь одно: тяжко людям не ведать того, что всякий видит, что слышит, что осязает. Как оная Плавтова Сосия тем одним смущает обыкновение черни, что, осязая, видя и слыша, сам о самом себе сомневается. Скажет ли кто когда-либо, зная, что снег чёрен, а огонь холоден? Ибо кто, взирая, объявил сие? Посему, если ты станешь внимать Эпикуру, найдёшь, что познание истины сотворено первично от чувств, а не от чувственного суждения. А что ты утверждаешь, будто божественное может быть познано людьми, — то я тоже легко уступлю. Ибо коль скоро вещь постигается познающим, ты признаешь, что божественное не соединяется у тебя с человеческим, — а сии два столь противоположны, сколь только можно. Ибо о божестве говорится, что оно лишено и начала, и конца; человеческое же всё завершается пределами. А того, что конечно, к бесконечному, по свидетельству перипатетиков, нет никакого соотношения. Мудро посему сказал Лукреций, как ты уверяешь, если он говорит: «Ибо мнить, что смертное с вечным соединено и способно к взаимодействию, — есть безумие». Ибо что должно мыслить соединённым и в одно слитым, или что более между собою разъеди-

нено, несогласно и различно, нежели смертное, с бессмертным и вечным сопряжённое? Я же, даже если бы сие было возможно, не стану навлекать на вышних столь великую доuku, чтобы в любое мгновение нам, смертным, предстояли наставники, и того, о чём едва дерзнул бы просить товарища, просить у богов». «А я, — говорит Барухия, — сего твоего латинского Сарданапала, коего прочие именуют Лукрецием и о философии и всём сонме божественного дурно заслужившим, подозреваю, — и, если не в тягость тебе примешь, — что он и во многих иных местах сам себе противоречит; но обратимся к делу,

коснёмся его. Ибо когда он описывал деяния великой матери Кибелы и утверждал, что вооружённые мужи оттого следуют за колесницею, что мнили, будто богиня предрекает, каким оплотом защитить отечество, — он всё же, сочтя сие пустым для веры, присовокупил такими словами: «Хотя всё это прекрасно и превосходно устроено, всё же оно далеко отринуто от истинного разума. Ибо необходимо, чтобы всякая природа богов сама по себе наслаждалась бессмертным веком в высшем покое, отдалённая от наших дел и далеко отделённая. Ибо, лишённая всякой боли, лишённая опасностей, сама сильная своими богатствами, ни в чём в нас не нуждающаяся, она ни за заслуги не привлекается, ни гневом не трогается». Отсюда явствует, что вышние ничего из своей милости нам не уделяют, дабы не отягчиться доукою дел. Но затем, в третьей книге, он говорит так: «Должно на-

звать богом того, кто был богом, славный Меммий, — кто первым обрёл то разумение жизни, что ныне зовётся мудростью, и кто искусством из столь великих зыбей и столь великого мрака поставил жизнь в столь безмятежный и столь ясный свет». Ничего иного речь сия не может являть, кроме как что философия есть дуновение бога и божественное озарение. Это он наконец, самую истинною понуждаемый, признаёт, — что мы едва исторгли из рук его, что без угрозы дыбы, сиречь пыточных струн, выжали. Умолчу, что он то утверждает, что душа смертна, то — что она возвращается к небесному началу. И когда я, ради примера, стану говорить о душе, уча, что она смертна, — ты подумаешь, что он и о душе так же говорит. В ином стихотворении он говорит: «Наконец, все мы происходим от небесного семени; у всех один и тот же отец». И немного спустя заключает: «Возвращается также вспять в землю то, что было прежде из земли, а что послано из пределов эфира, то вновь приемлют сияющие храмы неба». Ужели он не страшится быть опровергнутым как безрассудный и бесстыдный, но пышно убранными речениями надеялся нас обмануть или хотя бы поколебать, и как бы сам себя выдал, — словно хотел коснуться сладким мёдом обители муз? Но молю тебя: дозвожь ему петь меж поэтов, а не председатель на кафедре философов. А если бы я счёл, что тебя или кого-либо иного могут поколебать его учение, его писания или даже Эпикур, как последняя, так и грязнейшая секта, — я возопил бы и, сколько мог бы, доказывал,

что сия секта — гнуснейшая кормилица всех сочинителей, насаждённая исступлённым сном некоего Левкиппа, а после орошённая авторитетом Демокрита, — и возбудил бы всякого рода философов, хотя для искоренения сего святотатственного племени и не столь уж много надобно, ни весьма проницательного и ясного ума». «Ты, КАПНИОН, — говорит Сидоний, — оставь злоречие, обратимся к самому делу. Право, мне кажется, что я вижу вас обоих испытателями высочайших вещей, наделёнными величайшими дарованиями, особым обилием и способностью речи, — вижу, что вы многое блистательно, многое великолепно, весьма многое мудро привнесли к предмету, о коем идёт речь, и как бы из разнообразных товаров обоих поднесли благороднейшее вкушение. Но когда я помышляю в душе, что сам я к вашим торжищам, столь великим тяжущимся, могу привнести достойного, — право, весьма жалею я себя и стыжусь, что не колеблюсь вбивать слишком грубую и неизящную речь в уши учнейших мужей, — если только одно не избавит меня от порока: что я нарочно и намеренно примешался к вашему сообществу, дабы в сравнении с моею неотёсанностью и неопытностью достоинство и слава учнейших людей воссияли много ярче, — как обыкновенно белое среди многого чёрного заметнее светлеет, и всякая вещь присутствием своей противоположности яснее является». «Итак, полно, — говорит Сидоний, — молю тебя (знаю, что и сей Барухия со мною), пощади сие витийство, тем паче в деле неуместном. Ибо к чему отрече-

ние от хвалы, коей мы почитаем тебя достойнейшим? Мы и прежде знали друг друга. Посему продолжай, Капнион, и изложи нам своё мнение. Ибо весьма кстати сие место философии таит уединение, и, никаким шумом не стесняемые, ни мы от слушания, ни ты от говорения не будем удержаны». «Сделаю охотно, коль велите, — говорит КАПНИОН, — лишь бы вы без досады сносили мои нелепости. И если не обманывает меня память, — право, полагая всё прочее за врагов, вместе с самим станом оставленных, — я мыслю, что война меж вами ведётся по двум причинам. Первая — что о вещах как горних, так и дольних не может быть по-человечески приобретено никакое знание, причём повод к тому даёт до божественного — человеческая немощь, а до

естественных вещей — их временная изменчивость и непрестанное изменение, что почитается относящимся к основанию совершенного знания. Препятствует и второе: что и божество не дозволяет, чтобы смертные хоть что-нибудь знали, — дабы боги не были поражены нестерпимою доукою из-за ежедневных вожелений людей, жаждущих учения. А сверх того — важнейшее: что сталкивать божественное с человеческим действием, что в подобном знании необходимо совершилось бы, было бы не иначе, как если бы ты усердствовал согласными узами связать наиболее различное. Всё сие, дабы изъяснить как можно короче по нашему разумению, сводится к тому, что должно взвесить силу слов, коими вы едва ли не от восхода и до сего вечера ратуете.

Рассмотрение же будет не из вполне сокровенных начал и не из неясных доводов, как полагаю, к убеждению. Ибо чего иного желают шары очей в вогнутых впадинах, замкнутых во лбу, кроме как видеть, — что есть единственное и собственное утешение сердцу, без коего, лишённые плода зрелища, они были бы напрасны и праздны в своих дарах? Если хотите, вспомните, какую отнюдь не нескладную песнь принёс оный фригиец у Еврипида. «Всякий, — говорит он, — кто есть муж, даже если он раб, всё же радуется зреть свет». А тот хрящ, мягче костей, твёрже плоти, в ушах человеческих висящий и гнущийся, — ужели не жаждет впивать голоса? Оттого и уши, как полагают, названы у Вергилия, когда он говорит: «И голос сими ушами впил». И дабы объять прочие орудия восприятия вещей: чего иного желает пахучая сила ноздрей, как не обонять? Чего язык более жаждет, нежели вкушать? Итак, пища, коею питается око, есть цвет. Так для слуха звон — звук, для носа — благоухания, для языка — вкус, а для осязания пищею становится мягкое и жёсткое. Спроси далее: если бы не было ни ока, ни уха, ни носа, ни, наконец, языка, никакого чувства, — что, мыслишь, доставили бы нам полезного цвет, голос, запах, горькое, сладкое, шероховатое, гладкое? Ужели всё сие не было бы напрасным в мире, не должно ли почитать его пустым и ничтожным? Поистине, отложите же сие из рук и возьмите не орудия чувств, но их силы и способности. Ибо если не будет при них острого суждения, всё станет нерасчленённым

и смешанным, и не противопоставишь ты одно другому как ему свойственное, и око увидит голос, и ухо услышит цвет. Молю же тебя, Сидоний, по слову Лукреция твоего: «Ужели смогут уши порицать очи? Или уши — осязание? Или, далее, вкус уст обличит осязание? Или ноздри опровергнут очи, и вкус тоже одолеют?» Не так, полагаю, оно есть. Ибо у каждого способность разделена особо. Что и Барухия вместе с тобою, и все академики и перипатетики отвечали. И вот повод к сему разделению. Пусть скажет Эпикур: «Очи, равно как и прочие орудия, не познают самой природы и состояния вещей». Что же тогда? Внемлите стишку: «Сие, наконец, разум ума должен различить». Дело сделано. Ибо как цвет питает зрение пустою картиною, так и сияющая в душе форма истины, без сомнения, будет пищею разуму, который одно от другого отличит при посредстве промежуточного помышления, кое зовут оценкою, или эстимацией. Изложу же всю причину сколь можно короче. Чувственная вещь отовсюду исходит из себя тончайшее и бестелесное подобие, сиречь симулякр, которое легко воспринимается чувством по дружественному гостеприимству чувственной способности. Оно на том месте вскоре обретает более высокое достоинство иного порядка и, отбрасывая наличное существование вещи, становится образом, или идолом, удержав при себе прочие обстоятельства. Тогда-то воображение приемлет облик сего отсутствующего подобия. По состоянию образа сама фантазия через собственные явления и оценивает, и рассуждает — то ис-

тинно, то ложно. Оттого кони, дурно различая, обыкновенно ненавидят призраки, сиречь личины, и как бы бегут бующего вреда. Не иначе и птицы, которые, дурно подозревая пустые чучела в садах и полях, страшатся и часто боятся силков и предчувствуют засады. Затем сии оболочки, сколь бы тщательно ни были возвышены, всё же ещё окроплённые грубыми привесками, — некая достойнейшая сила, что зовётся разумом, просеивает и взвешивает, перебегая от одного свойства к другому. Каковым явным перебором в вещах она утверждает, что это — хрусталь, а то — лёд, и меж драгоценных камней рассуждает, что янтарь порою смешивается со стеклом, —

почему и примечает, что это — хризолит, то называет смолою, иное именует золотом. А в действиях и делах одно почитает постыдным, другое — достойным. Итак, всегда исследует разум и тщательным, неутомимым дознанием испытует чувственное, обнажённое сперва от материи, ныне же от наличия вещи, с присоединением ещё и различных интенций, сиречь устремлений, никаким чувством не воспринятых, кои, однако, без чувственного не могут стать явными. Как когда взираю я на сего Барухию — человека роста среднего, с окладистою бородою, с несколько печальным челом, с орлиным носом, облачённого в плащ, в круглой шапке, и, как говорит Персий: «С наклонённою головою и вперившего очи в землю», — когда он про себя ропот и яростные молчания грызёт и, выпятив губу, взвешивает слова, —

оттуда заключаю, что он еврей, коему знаком шафранный круг на шапке; философ, ибо укрыт плащом; и притом более всего пифагореец или иной, более божественной секты, ибо о Сатурне говорят, что он рождает подобные черты, сиречь обличья сокровенного созерцания. Затем заключаю, что он мне по обычаю племени и исповедания не весьма друг, разве лишь поскольку нас уже сближают письма; равно радующийся крову и тени, и весьма многое в сём роде — признаки, что приличествуют человеку либо для жизни, либо для похвалы. И никогда не перестаёт разум испытывать, но каждому прирождено усердное желание искать, откуда проницательная жажда познания касательно вожденной истины ничуть не обманывается в своём чаянии. Каковую истину и во всяком искусстве изыскивают мастера, и обманутых сама природа заставляет краснеть, ибо им недоставало суждения правого разума меж истинным и ложным. И обманщиков мы естественно ненавидим как таковых, и всех, кто одно держит под языком, а иное несёт под сердцем. И ничего люди не почитают столь постыдным для себя, как заблуждаться, — особенно наделённые добрым дарованием и сильные доблестью духа, коих я, всякий раз как нам должно рассуждать о науках, называю истинными людьми. И младенцы, едва оторванные от груди, о всякой вещи, которую видят или ощущают, любопытно расспрашивают, — так что не без основания дозволено признать, что нам прирождены любовь и способность к обретению истины. И да не потерпим мы, чтобы

нас до того безумия влекли или хотя бы вели, чтобы мы мнили, будто природа вселенной, которая, по свидетельству хотя бы Сарданапала, всё творит, возвращает и питает, — тогда как в ином она нигде не оказалась поступившей ложно, — здесь заблудилась и напрасно запечатлела в нас такую жажду истины. Ибо как вы признаёте, что очи были бы сотворены тщетно, если бы никогда не дозволялось им зреть свет, — так и помыслим о здоровой и искусной природе, что она едва ли насадила бы в душах смертных разум и вложила бы в него столь бдительное усилие допытываться истины, если бы наперёд не было ей ведомо, что человеческая душа способна постигать истину и что эту столь благородную свою способность, состояние, силу, могущество она может некогда явить в действии, привести к следствию, устремить к подспорьям, направить на предмет, ей соответственный, и, в свой черёд, стать его вожделеющей. Ибо истина есть таковая пища разума, как озаряющий цвет — пища ока, и возбуждающий запах — ноздрей, и созвучный звон — ушей. Итак, ясно является, что в сём строении мира, которое мы зрим, некая истина торжествует, — та, что столько раз движет наш разум, волнует, запутывает, распутывает, столько раз дивным образом беспокоит его, неугомонного и бессонного, — не случайными или откуда-то извне пришедшими, но своими, собственными и изначальными приманками природы, — кои всё, коль скоро совершаются не напрасно, непременно приводят к тому, что мы наконец, в некое благоприятное время, объедем

истину того, что есть. Итак, кто бы ни постиг поистине то, что есть, — либо самую свою природою, либо при содействии божественной подмоги, — почему не сочтём мы, что он стяжал знание о нём? Ибо так наречём мы знанием истинное постижение вещи. Это и есть то, что я сказал вначале. должно взвесить силу слов, коими спорите вы столь усердно о самом имени, — и в сём деле, конечно, легко можно будет уразуметь, что имя знания означает различно, — сколь многообразны вещи, о коих мы говорим, что знаем их. О вещах же, о коих полагают собирать знание, многие из философов, а особенно платоники, постановили, что природ их две. Одна — та, что может быть зрима очами и осязаема рукою, почти во всякое мгновение изменяющаяся от

Ибо да будет снисхождение (как говорит Мадаврийский, то есть Апулей) к новизне слов, служащей тёмности вещей. Сама она, хотя одною и той же пребыть не может, тем не менее приемлется на постой такою силою души — соразмерно тому, вернее сказать, сколько её есть и сколько её нет, какова вещь в истине, то есть изменчива. И вот эту нашу способность воспринимать изменчивую вещь — что впредь должно быть у нас установлено согласно — я называю мнимостным разумением. Отсюда и происходит то, что ты, Сидоний, утверждаешь: будто есть знание вещей естественных и чувственных. И я с тобою соглашаюсь: они, будучи познаны, изменяются, а потому и знание о них будет изменчиво. Никакой же нет разницы, назовёшь ли ты это знанием или мнеч-

нием, ибо о деле сём и без того явно. Хотите, скажу одним словом? У всех вещей, обитающих под сводом небесным, нет по-человечески того, что мы поистине зовём знанием, — есть скорее лишь мнение. И если когда услышим, что о них обретается знание, всё же само слово это означает мнение. О другой же сущности утверждают, что она по природе нетленна, неизменна, постоянна, одна и та же и всегда сущая, — что не только проникающим помышлением постигается, но и остриём ума зрится, каковы суть те, что мы зовём божественными. Ибо предшественники многие называли их даймо-ническими. Оттого-то весьма многие прозвали Платона божественным, а Аристотеля — даймо-ническим, ради превосходства обоих в писании о таковом. О сих же, поскольку они сверхнебесны и ни для какого чувства недоступны, — кто из достойнейших мужей (вас ведь я призываю, Сидоний и Барухия), кто, спрашиваю, из смертных, кроме как божественно и никакою человеческою силою, сколь угодно малое наконец познание о них стяжать может? Никто, клянусь Геркулесом, никто! Итак, истина низшего есть предмет рассудка, высшего — ума, и корм, и пища, и высшее наслаждение — всякому по мере вместимости его. Однако нет во всём обширнейшем пространстве земного круга — кроме основанного на божественном откровении о сущностях — цельного и неопровержимого знания, каковым его определил Аристотель, ибо божественного оно не касается, а мирское всякий миг ускользает от чувства. Ведь тут недостаёт достаточ-

ного познания причин, там — пребывающего постоянства, а что более всего мешает нам — запоздалая рассудительность хрупкого усердия и поспешная смерть. Оттого и выходит, что то, что мы часто почитаем мудростью или знанием, есть заблуждение, — опирается ли оно на созерцание небесного или зиждется на возвышенной догадке о естественных причинах и о влекущей с собою материю. Что халдейским философам Исаия, оный благороднейший пророк, писавший к городу Вавилону, ставит в упрёк: «Мудрость твоя и знание твоё, они самые обольстили тебя. Пусть спасают тебя астрологи небес (что мы, быть может, лучше переведём, нежели „гадатели по небу“, ибо по-еврейски астрологи суть те, кто созерцает в звёздах и исчисляет месяцы), от которых да придёт к тебе всё, чему быть в грядущем. Изнемог ты во множестве советов твоих. Каждый заблудится на пути своём». Итак, он обоих обьял — и тех, кто испытывает низшие причины, и тех, кто печётся о небесных влияниях: один заблуждается в исчислении, другой — в собирании советов, и оба не ведают силы, соразмерной действию, и всего, что касается состояния сущностей. А потому, мудрствуем ли мы о вечном, откуда и имя мудрости, знаем ли о вечнопребывающем, у чего материя устойчива и мала, познаём ли мгновенное, текучее и преходящее, что подлежит времени и небу, — всегда выше их правая вера. Через неё деятельный разум, поставленный на вершине и высоте человеческой души, чистый, светлый, прозрачный, сияющий в умах божественных

и сверхнебесных и отражающий состояние всех вещей — как смертных, так и бессмертных, — созерцает его как бы в некоем зеркале вечности. И он всякого рассудочного распорядка, рассуждения, изыскания, мнения, знания, равно как и всякого разума — деятельного, властного, созерцательного, обрётённого, — насколько сам он взирает на низшее, много вернее и как к созерцанию, так и к действию более действен. Ибо если позволено сравнить низшее с высшим: как душа по чувству становится некоторым образом тождественна в действии с чувственным, а по разуму — с умопостигаемым, так, и притом более того, через веру ум наш становится едино с горними разумами и

КНИГА I.

с ними же, и с Богом соединённым, в Ком отражаются все причины вещей много превосходнее, много благороднее, нежели сами они могут пребывать в своих следствиях. Ибо сокровеннейшая для вещей есть причина первая, более, нежели вторые. Вторые первая содержит, как источник — воды ручьёв. Более того — как безмерное море разом вбирает в себя все волны, и обширно объятие его. Что Агамемнон у Гомера возвещает. Ибо оно держит вселенную. Оттого и говорится, что оно имеет Мегистон кратос (Μέγιστον κράτος, «величайшую власть»). Оно есть начало всякой вещи, по свидетельству Орфея, и могущественнейшая сила пребывания — начало, середина и конец. Поверьте мне: когда я раз-

мышляю о сём умом и когда собираю и разделяю природы вселенной, мне видится, будто я ясно вижу, каким образом человек относится к ближайшему себе. Ибо как небо в материи сообщается с огнём, огонь с воздухом — теплом, воздух с водою — влагой, вода с землёю — холодом, снова земля с огнём — сухостью, Бог с разумением (которое по свойству слова мы почитаем даймоном, как бы даймоном) — бессмертием, даймон с человеком — приязнью, человек со зверем — чувством, а сей с растением — неким родом души, что делает его растущим; и всё же в конце концов нахожу, что животное отстоит от человека разумом, человек от даймона — врождённою мудростью. Но человек от человека отличается наипаче верою: как невежда от мудрого — через употребление разума, так мудрый от пророка — через употребление веры. Пророк же от даймона — через смертный удел. Итак, теперь вы видите, почему поставил Бог человека посреди рая. Рай есть сад услад (Paradisus deliciarum). Всякое убранство есть услады. Мир (mundus) от убранства получил имя, ибо по-гречески зовётся Космос (Κόσμος, «украшение»). Ведь и в гражданском праве «мир женский» (mundus muliebris) есть то, чем украшаются жёны. Итак, поставил Бог человека посреди вселенной, общего низшему и высшему, дабы он к высшему являл веру, к низшему — разум; среди смертных как бог — через веру, среди небожителей как человек — через разум; меж тем и другим превосходящий мудростью, побеждённый божеством наравне, однако побе-

датель над человечеством. Чему мы научились от царя Давида, ибо о человеке он так говорит с высочайшим, преблагим и величайшим Богом: «Умалил Ты его немногим пред-омЭлохим (אלהים, Elohim)», — то есть пред Богом. Итак, жете вспомнить, что я мыслю о прежнем вашем прении: что есть некая истина в вечном вечная, коей сам ум становится вместилищем; в изменчивом — изменчивая, довольствующаяся пристанищем рассудка; и что знание об одной может зваться мудростью, о другой — правым мнением; и что всё неверно, если не укреплено божественною верой. Остаётся ещё препятствие некоего немощного умствования (да будет мне позволено сказать без обиды для кого-либо), измышленное Эпикуром, философом плоским, которое, полагаю, Сидоний скорее приводит, нежели утверждает, — ради особого преимущества важности и учёности, коими он сверх прочих отменно наделён, — дабы заставить нас усомниться: не постигает ли Бога досада, если Он расточает смертным благодеяния? Или, скорее, желает ли Он, чтобы Его непрестанными молитвами просили? Один Эпикур, нетерпеливый к труду, столь возлюбил праздность, что и в высшем благе полагал досуг, и приток божества почитал докукою. Как будто я поверю, что солнце истощается светом и наконец гаснет оттого, что столь долго светило, и что небо утомляется, когда подаёт кроткие влияния низшему. Если сие столь долговременное служение телесного не тяготит, не изнашивает, не истощает, — что должно мыслить о высочайшем Творце всего?

Который, если бы вместе с Эпикуром, с Лукрецием и прочими сластолюбивыми прихлебателями возлюбил лень, вялость и праздность, — не излил бы, конечно, столь великого и столь дивного убранства, какое мы видим, преизобильно из недр Своих, и не воздвиг бы сей махины, которою правил бы вечно. Ибо, хотя над всякими делами мы извели особых правителей, наместников, трибунов, предстоятелей, — всё же всегда прибегают к сему единому владыке вселенной, без которого нельзя мыслить, что правители правят, что трибуны подают голоса, что предстоятели довлеют. Не иначе как свет без светила или вовсе вторая причина без первой. Ибо строй вселенной требует и чего-то первого, и единого, чего философу постыдно не знать, коль скоро то ведомо простым воинам. Ведь так Улисс (Одиссей) у Гомера в

войске держит речь: «Не поодиночке, право, можем мы начальствовать, о ахейцы. Ибо нет блага во власти многих: да будет один вождь, один царь». Где теперь столько атомов, Эпикур, правящих столь великим царством, и бесчисленные зодчие единого мира? Если разумом правят столь малые тельца, то, стало быть, они не будут простыми и неделимыми, ибо состоят из разума телесно. Если же помимо разума, — то по необходимости всё они творят неразумно. Чего гнушается не только природа, но и само имя мира (*mundus*), в коем ничто украшенное, ничто стройное не могло бы устоять, если бы всё смешивалось в беспорядке и одно тянулось к иному. Итак, кто высочайший, тот един; кто един, тот прост.

Иначе он был бы составным — двумя, а не одним; оттого и не приемлет в себе никогда ни скорби, ни томления, ни смятения, ни докуки. Ибо стал бы он изменчив и множествен и способен изменяться в худшее, что не подобает единству и высшей благодати. Когда же именуют Его подобным Себе — то есть милостивым, благодетельным, милосердным и всем прочим, что являет Его благодать, подобает Ему и украшает Его, — тогда Он остаётся тем же самым и вместе с тем пребудет единым: и милостивым, и Богом; Богом — когда призываем, милостивым — когда исполняет мольбы. Но есть ли кто безумнее всякого исступлённого, кто помыслил бы, что может стать, будто какими-либо смиренными молениями тяготится деятельный покой и покойное действие вечного божества? Коего высочайшее достоинство в том, чтобы Его просили, высочайшая тишина — в том, чтобы Он подавал; Который и людей приглашает просить, как сказал Сын Божий, Он же и Бог: «Никто, — говорит, — не приходит ко Мне, если Отец Мой не привлечёт его». Наслаждение для Бога — взирать на лица людей, взирающих на Него. А твой, Сидоний, Лукреций, и тот, кем ты паче восхищаешься, — не досада, не беспокойство. Твой (ибо чести ради я уже не называю тебя приверженцем секты столь святотатственной) и притом ещё твой Эпикур дерзают приписывать Богу то, чего и о добрых-то мужах помыслить не подобало бы, — будто Он тяготится молитвами друзей. Ибо что иное движет смертных к молитве пред божеством, как не надежда, что они дружны

с Богом? Что укрепляет веру в молениях, кроме одной любви? Это и показывает Гомер, преисполненный всякой философии, когда говорит, что сам Аполлон услышал молящегося Хриса, ибо тот был весьма ему дружествен. Из того, что я вкратце изложил, по скудному дару речи, какой во мне есть, явствует, полагаю, что должно ответить человеческому рассуждению о самом соединении с божеством. Ибо не о том ныне вопрос, может ли один и тот же быть Богом и человеком, рождён ли он от Бога или произошёл от людей. Каково об Эскулапии передал памяти оный отступник Юлиан в изданной книге против галилеян, коего почти дословно слова таковы, как бы я их ни перевёл: «Ибо Юпитер в своих умопостигаемых из Самого Себя породил Эскулапия и на землю через плодотворную жизнь солнца ниспослал; и тот, получив в удел от небес нисхождение на землю, единообразно явился в облике человека близ Эпидавра. Умножившись же там успехами, простёр Он над всею землёю спасительную десницу Свою; перешёл в Пергам, потом, отправившись в Ионию, к Таранту, позднее — в Рим. Отсюда переправился на Кос, наконец к Эгам и к прочим местам по морю и суше, дабы восстановить худо расположенные души и не вполне здоровые тела». Что сие Юлиан вымышляет — пусть сам смотрит. И не станем мы здесь разбирать спор о бессмертных богах, каким образом они на земле обращались и людям являлись: как Аполлон преследовал Дафну, как в Фессалии пребывал у Адмета, как во Фригии был узнан пред Лаоме-

донтом, как в хижине бедняков Филемона и Бавкиды пировали оба вышние бога, как написал Овидий: «Юпитер сюда в смертном обличье, и с родителем вместе пришёл Атлантиад, отложив крылатый жезл». Ибо почти вся оная книга «Превращений» (Метаморфоз) есть не что иное, как общение богов с людьми, или — что ещё смехотворнее — со зверями, металлами, камнями и прочим, лишённым души, — не только общение, но даже превращение: так что эпикурейцам должно казаться ещё удивительнее, что они воспевают, будто высочайший Юпитер может смешиваться со всеми вещами, даже самыми ничтожными. Ведь он, по их словам, то в золото превращался, то в Лебедя; то был Быком, то Орлом, то камнем, который зовётся Абаддир,

и всегда был изменчивее самого Протея. Мы же — будь то общность человека с Богом, будь то приобщение Бога к человеку, — насколько это служит нашему меж собою рассуждению, называем любовью, которую породила вера, питает и хранит надежда. Бог есть любовь, человек есть надежда, узы обоих — вера. Соединяется божество с умом, как ум с разумением, разумение — с устремлением, устремление — с образом, сей — с ощущением, оно — с чувствами, а они наконец — с самими вещами: и всегда так, что высшая сила через все низшие, по мере восприятия всякого одушевлённого, вплоть до последнего протекает. Ибо нередко случается, что я устремлю очи к чему-либо, а всё же не помню, чтобы видел то, что воображение приковало к иному. Что же есть то, что

я мню видеть, — то, наперёд изощрившись в устремлении воображения, доставляет разумение вместе с рассудком. Разумение, если не озаряется через ум, не свободно от заблуждения. Ум же не подаёт разумению света, если не воссияет Бог, Который, имея свободнейшую волю (иначе Он был бы хуже человека), по мере воли Своей больше или меньше света изливает на ум, коим орошаются прочие силы смертных. А потому нет никакого соотношения человека к Богу. Ибо Бог бесконечен, человек конечен; и всё же (с твоего позволения говорю, Сидоний) не суть сии двое наиболее противоположны, как ты утверждал, и однако одно всё же не есть другое. Но смогут они соединиться несказанным единением, так что один и тот же должен быть почитаем и человеческим богом, и божественным человеком. Веду же я теперь с вами, учёнейшие мужи, беседу запросто, как в палестре, — не о тайной вере, а об общедоступной философии. Ибо единство, которое не имеет ни начала, ни конца и потому зовётся бесконечным по сущности, силе и действию, хотя и не есть число (ибо число есть груда множества), всё же творит число и соединяется с числом, коего разнообразное обращение в содружестве чисел изменяет и самую их сущность, и всем числовым царством, как высочайший царь, правит. Одного смиряет, другого возвышает. И как говорит Гесиод: «Легко возносит одного, и легко высокое низлагает тот же». Ибо оно исходит из внутренней имманентности, откуда происходят бесконечность, мера и предел всего, как первый тре-

угольник, творящий вершины всего, коль скоро всё смешивает в порождениях. Впрочем, вторым исходом оно приходит к более сообразному своей природе нечётному, к несоставленной сфере неделимого первого, которая, однако, являет некий вид составленной природы, будучи составлена из первоначальных семян вещей — и чётного, и нечётного. Затем, третьим, мечет лучи на твёрдое тело, проникая через круговое число инаковости в чувственное и непрестанно совершеннейше движа его в основании десятиричной пирамиды. Наконец, божественное единство обитает дивную середину всякого числа, которую неким кругом неделимой нечётности ближайше стремится чудотворным отражением возратить к себе, — а потому и её самоё оно отметило с высшим вторым исходом общим начертанием. Ибо одно лишь зодчество вселенной расположило сие различие строя между тем и другим, при посредстве тела мира, дабы можно было усмотреть, что единство не чуждается общения с отдельными вещами, — почему мы и замечаем, что Бог охотно обращается с людьми. Величайшим тому доводом может служить то, что мы сами — свершители чудесных дел сверх человеческих сил, и, будучи поставлены в природе, вместе с тем господствуем над природою и производим чудовищ, знамения, чудеса — знаки божества — мы, смертные, единым словом, которое я уже давно дерзнул вам изъяснить. «Тогда, Капнион, продолжай, — сказал Сидоний, — ибо страстно желаю знать, к чему ты придёшь. Да возлюбит меня Бог, никогда

в иное время не слыхал я ничего отраднее: что в нас заложено и сокрыто одними лишь словами (кои среди всех человеческих измышлений мы почитаем легчайшими и ничтожнейшими для совершения) — столько вещей столь дивных, столь трудных, столь внезапных, столь дерзновенных совершать, сколько заблагорассудится духу нашему, — что читаем мы о Медее: „И трижды изрекла слова, творящие покойный сон, что море взволновавшееся, что стремительные реки останавливают“. Ибо чего не могут заклинания? О сём поистине показалась мне много похваляющейся волшебница у Назона (Овидия),

О ЧУДОТВОРНОМ СЛОВЕ.

когда говорит: „И стоячее останавливаю, потрясаю пением моря, тучи гоню, и тучи навожу, ветры отгоняю и призываю. Змеиные разрываю словами и заклинанием пасти, и живые камни, и вырванные из земли дубы, и лесадвигаю, и повелеваю трепетать горам, и реветь земле, и манам выходить из гробниц. И тебя, луна, влеку“. А потому, Барухия, должно молить и даже жертву принести сему Капниону, дабы мы не остались в неведении, что есть сие слово, коим он утверждает, будто творится таковое». «И я с тобою соглашаюсь, — отвечал Барухия, — и, конечно, дело будет достойно столь великих философов — рассуждать меж собою о столь сокровенном. Ибо наш род людской в книгах, некогда потаённых, немало любопытствовал об этой части религии. Всё же ска-

жу, как я согласен: нет ныне ни одного еврея, коего пожела-
ла бы сопровождать та сила слов. Но всю ночь мы напрас-
но бормочем, как и в Дельфах прекратились оракулы, и Пи-
фия, ставшая приверженкой Филиппа, была обличена Демо-
сфеном. Разве что сыщется какой-нибудь святотатец, кото-
рый ради корысти сулит знамение, — как одуряя, так и об-
манывая. Я сперва скажу о прочих народах, потом вспомню о
своих, а затем и об иных. Ибо богатым фригийский птицеха-
датель даст ответы, а за мелкую монету иудеям продаст лю-
бые сны, какие пожелаешь. Столь у порочных мужей всегда
в чести проклятая жажда золота, что они не колеблются ра-
ди корыстолюбия и алчности осквернять своими злодейства-
ми как божественное, так и человеческое. О некоторых же
твоих, Капнион, священниках нынешнего века, которые хва-
лятся, будто они чистейшие и как бы внуки Божии, преис-
полненные божеством, — ничего не дерзну возразить, дабы
ты не подумал, будто я по особой ненависти к той секте по-
кушаюсь на нашу дружбу, которую сдружила более изящная
словесность. Ибо есть отменное изречение Теренция, кото-
рое должно с памятливым умом лелеять, гласящее: „Правда
рождает ненависть“. Если бы не боялся я его, то надлежало
бы вынести на средину: каким образом всё священное они
оскверняют мздою, от высшего до низшего, так что всё ста-
ло продажным за плату; и когда им правом иска возбраняет-
ся требовать сего пред судьёю, они изыскали надёжное при-
бежище, вызывая к обязанности судьи, дабы обычай переда-

вать деньги не пропал, — будто бы не мзда испрашивается то, что испрашивается по обычаю, тогда как и обычаем не должно звать то, что умышляется против Бога. Но умолчу я о том, какие знамения, какие чудеса они возвещают народу, дабы приношения обременялись дарами и всё их достоинство приобильствовало деньгами. Как говорит Акий: „Обогащают словами чужие уши, чтобы золотом обогатить свои дома“. Не иначе и этот приносит магические заклинания, и тот — фессалийские приворотные зелья, и иудеи продают сны. Итак, когда прекратится алчность, я полагаю, что впредь никого не будет, кто сулил бы словами или знаками сотворить чудеса, — разве что какое-нибудь безумие вселится в ведунью, властную над божественным, которая захотела бы, чтобы всякие глупцы верили, будто она весьма искусна низводить небо, подвешивать землю, сгущать источники, размыывать горы, возносить манов, унижать богов, гасить светила, освещать тартар: каковое старушечье безумие иной раз бывало уличено в блужданиях прямо на полях, и не только по римским, но и по более древним законам нашего народа (то есть по законам евреев) нередко каралось крайнею казнью». На это тотчас, словно с некоторою досадой, безмолвствовавший Капнион всё же весьма скромно вступил в ту беседу и сказал: «Любезнейший Барухия, к чему ты клонишь речью, что дерзаешь убеждать нас, будто, коли нет корысти, не совершается людьми часто нечто изумительное и достойное восхищения, — не рождённое временем, но внезапно воз-

никшее, не унаследованное, но нынешнее и в один миг наступающее, повода к чему прежде никто не постиг и не чаял, — и оттого зовомое чудесами, — совершаешь ли ты это по нечестивому или по случайному обету? Ибо столь далеко до того, чтобы оно легко совершалось ради богатств, что даже преданным алчности отказано в этой досточтимой щедрости божественных даров. Ибо хотя у Гесиода податели богатств зовутся богами, всё же вышние не желают, чтобы их просили ради стяжания оных, а подземные должны: одно — ради избежания преступнейшего накопительства, другое — ради избежания срамоты алчности. Есть о том здоровое учение древних философов, по свидетельству Феогида, который так говорит: „Не люблю богатств и не ищу их; но да будет мне лишь

жить малым и не иметь зол“. Твой же Соломон, муж, наделённый и мудростью, и древностью, ту же мысль этими словами, беседуя с божеством, выразил. Скажу же я по-латыни, насколько смогу, ибо истолковать сие было бы по праву твоим делом: „Нищеты, — говорит, — и богатства не давай мне; дай мне вкушать хлеб мой определённый“. Что в народе так речётся: „Нищеты и богатства не давай мне; удели лишь необходимое для пропитания моего“. А что этим твоим иудейским (как ты говоришь) перестали служить чудотворные слова, — тому, поверь, должна быть немалая причина: ведь именно у тех, у кого некогда более всего в ходу было сие искусство, так что предки наши, из страсти к

этой философии, к той самой стране от сладостного общения друзей и земляков и от отеческих очагов были уведены не только многим странствием, но как бы и вечным изгнанием. Хотя слышу я, что иные не хотят соглашаться, будто Фалес, Пифагор, Платон и прочие доходили до иудеев, но лишь до египтян и мемфисских прорицателей. В числе их объявил себя Фирмиан Лактанций, в четвёртом томе той книги, которую он озаглавил „Божественные наставления“, последовав, быть может, никому иному, кроме себя. Но я, легко следуя по следам Моисеева чтения, которые нахожу в их писаниях и свидетельствах, принуждён к тому мнению, чтобы сказать, что они не миновали ни Сирии, ни Иудеи, ни даже школы Халдеи. Ибо в своё время священное писание евреев начало у вавилонян пользоваться столь великою честью, столь частым почитанием, что они позаботились перевести его с собственного языка на халдейский; и это около пятьдесят шестой олимпиады, то есть во времена Фалеса. Итак, кто был воспламенён столь великим желанием разыскания истины, что, оставив дом, шёл в изгнание, дабы не укрылись от него древнейшие памятники священного, — кто будет столь чужд рассудку, чтобы усомниться, что те же, идя в Египет, не зашли вместе и в Иудею, — тем паче чтобы, вкусив ручьёв, испить и от источника, и чтобы прозреть также в набатейские обряды и напитаться более чистым божеством? В передаче коего иудеи были благороднее всех народов земного круга, по свидетельству самого оракула, который тому веку по еже-

дневной славе не был неведом, но на перекрёстках и по улицам распевался. Попытаюсь-ка я, смогу ли оттуда извлечь хотя бы два стиха, что созвучны греческим. Ибо так говорит оракул: „Одни халдеи мудры, мудры и евреи, что чтут от Себя Самого рождённого — царя и бога“. Прибавляется к сему то, что могло бы подкрепить моё мнение, а именно, что мало расстояние между египтянами и иудеями, а потому нередко можно найти в одном месте смешанные народы — из египтян, арабов, евреев и финикийцев, — особенно в Себасте Иродовой, которая вновь зовётся Самариею, в Филадельфии, в Иерихоне и равно в Галилее. О предмете отнюдь не тёмном говорю я вот этому Сидонию, опытнейшему и любезнейшему нам обоим, ибо он рождён оттуда неподалёку». «Истинное, право, ты говоришь, — сказал Сидоний. — Ибо усматривается единая смежность Иудеи, Египта, Аравии и вавилонян, а потому мне не кажется правдоподобным, чтобы те философы не коснулись Палестины и еврейской мудрости, — коль скоро я имею достоверно узанным, что они не только часто самые вещи, но и почти слова того народа перенесли в свои книги. Но продолжай, Капнион». «И впрямь ты судишь верно. Ибо о Платоне достоверно известно, коего и я, ради передышки, после тысячи дел и придворной суеты, иногда обыкновенно читывал. И — о благий Боже — сколь многое нахожу я у него оттуда выуженным, большею частью слово в слово. Если же хотите узнать сие пространнее, читайте философа Иустина (и, полагаю, вы читали), —

хотя он и мученик моей религии и немалой честности, и оттого, быть может, подозрительный для вас, — если только не самым делом, а не утверждением его вы будете принуждены согласиться со мною. Возвращаясь к предмету. Она спасительная сила слов, которая вас покинула, нас избрала, нас сопровождает, нам по мановению повиноваться усматривается. Она не человеческим советом, но божественно данная и дарованная — совершенной

религии сила, не случайно, но старанием и усердием своим переменяла место. Оттого что вы законные священнодействия изменили, вы напрасно ропщете и напрасно призываете Бога, Которого чтите не так, как Он Сам хочет, но льстя своим измышлениям; притом и нас, чтителей Бога, ненавидите бессмертную завистью, — а это более всего отвергает божество, желающее мирно почить в умах человеческих. И нашего Сидония я нелегко приму, разве что он окажется способен к искреннему роду веры. О тебе же самом едва ли есть у меня надежда, ибо рождён ты от того рода, который всегда был жестоковыен, — если только не сделает чего-нибудь многой словесностью в твоём славном даровании, многочисленные занятия, бесчисленные учения, да и немалая любовь к познанию». Тогда оба сказали: «Молим тебя, Капнион, не отчаивайся и не покидай нас. Ибо единственна та сила слов, что превосходит всякое знание. Оттого мы подставляем руку под твою указку, каким бы родом науки ни были посвящены. Знаю я, — да и вот Барухия, — что в изучении священного

должно идти не тем путём, каким обыкновенно ходят математики и физики. Ибо те сперва почитают наиудобнейшим сшибиться рогами, состязаться меж собою и биться на обе стороны. Затем через некие предпосылки — назовёшь ли ты их аксиомами или началами, — которых ты не можешь опровергнуть, тотчас искусством достоверного сочетания заключают и тем принуждают тебя устоять. Напротив же, в божественном требуется безмолвие, спор отвергается, силлогизм осмеивается. Ибо у божества нет никакого начала, ничто ему не предшествует. Итак, что бы ни надлежало заключить, тому тотчас должно покориться, на условии много более твёрдом, нежели знание. Что это такое, мы от тебя прежде слышали. А потому возобнови беседу, добрейший Капнион, и научи нас, какими же словами можем мы творить нечто дивное. Ибо я за сего нашего сотоварища ручаюсь во всём, что должно исполнить. Не так ли, Барухия?» Тогда тот: «Так, Сидоний. Ибо обоих вас я знаю мужами добрыми и учёными — и того, кто выговаривает условие, и того, кто ручается. Оттого-то святотатства, коего я убоился бы от иных каких-нибудь пошлых людей, ныне нимало не страшусь. Не страшусь и того, чтобы извращённым каким-либо почитанием была нанесена обида высочайшему божеству. Ибо оба вы знаете, сколь нечестиво было бы сие и недостойно философов». «Я же, — сказал Капнион, — тебе обещаю. Но обоим предпишу законы, которые вы без прекословия будете соблюдать. Вот в чём да будет ваше опамятование: от Талмуда, Барухия, а ты,

Сидоний, от Эпикура и Лукреция — отступите. Омойтесь, будьте чисты. Единого Бога держите Творцом всего, а прочие силы — служебными. К первому Богу да будут молитвы, к низшим — гимны. Если же случайно прошение должно быть обращено к низшим, да будет оно не иначе как с намерением управления, порученного от Первого. Ангелы, к Богу от нас и оттуда к нам летающие, — да будут им благоговение и трепет. К ним да будет не превратное испытание, но радостное послушание. Также священнодействия и обряды, о коих вы придёте слушать от меня, — да будут явны достойным, сокрыты — осуждённым непосвящённым. Сии же указы, равно и запреты, я рассудил сперва записать на доске, дабы вы могли обдуманно перебрать в душе, принять ли их или отвергнуть. Ибо ни на каком ином условии я не положил принять вас, как учитель в училище, в сокровенную Академию священных имён, кроме как если вы согласитесь на таковые уставы. И коль скоро вы охотно вступите в то, что я предложил, легчайше, надеюсь, достигнете того, чего желаете». Тогда Сидоний: «Ничего доселе, полагаю, ты не установил невыносимого, — разве что вот этому Барухии покажется, быть может, суровым самое установление о Талмуде, который я некогда, читая, признал за надменные измышления и сговоры многих в их безумии, коим не должно следовать, — особенно всюду, где он касается божества, — ибо скорее он священное обращает в ненависть к чужим народам, ту же самую погибель обращая на них, какую иные обращают в спа-

сение всего земного круга. Однако полагаю, он легко на то согласится, если вспомнит в душе своей, что то были люди не иные как подобные нам, которые записали свои вымыслы и измышления ради тщеславного выставления напоказ, — каковы суть толкования некоторых схоластов, коих всякий безнаказанно оставляет; как и я — отступник Лукреция и Эпикура, и не клялся я в слова ни его, ни кого-либо иного. Прочие же постановления

принадлежат его святому исповеданию. А потому положишь на меня: ни в чём из того он не воспротивится. Я же, чтобы сказать за себя самого, — отчего бы мне не подчиниться тому, что отроку мне некогда внушила религия против философии? Ибо вот уже многие века вся секта Сарда-напала — не без собственных зачинателей: Левкиппа, Демокрита, Эпикура, Лукреция — часто была освистана мужами добрыми и притом славнейшими. Что мне сомневаться в прочих твоих законах, коим я прежде научился от многих людей разного рода, а более всего — от магов-наставников? Ибо об омовении, когда был я в собрании мудрейших Индии, коих зовут брахманами, тот обычай омываться я почти обратил в привычку, усердно посвящённый долготою ежедневного употребления. Обыкновенно я изо дня в день с ними же в источнике, весьма схожем с неким в Беотии, что зовётся Дирке, совлёкши одежды, омывался, наперёд помазав голову янтарными каплями и благовониями, к тому пригодными. Затем, после того как сочтут, что мы довольно напитались

духом, надлежало выходить около полудня, дабы мы все вместе к священнодействиям там предстали в виде хора, облачённые в белый лён и белую митру, нося на пальцах перстни и держа в руках жезлы. Каковая чистота тела и облачения, как они говорили, немало способствует, как они верили, и чистоте души. И при том предстоятеле Вардане, четвёртом у индийцев после Иарха. Ибо после Иарха был Саухнес, после него Сесонхосис, затем Бокхорис, названные так по древним царям египетским. Подобное же я допустил, когда пребывал ради учения у гимнасофистов; и притом ещё более, ибо свято было днём трижды, ночью дважды омываться холодною водою, прежде нежели я мог во столько же мгновений войти во святилища. Равным образом одеяние было льняное, ежедневно свежеемытое. Ибо шерсть они почитают одеянием непосвящённым, как отнятую у скота, словно извержение звериной нечистоты. Читаем и у Гесиода, что сей род наставлений наипаче приличествует божественному. Ибо говорит он (как вы знаете) в книге „Трудов и дней“ примерно так: „Пусть никто на заре не дерзнёт возливать Зевсу вина неомытыми руками, ни иным бессмертным. Не так они хотят внимать и презирают моления“. И в другом стихе так: „Где нечестивец, не омыв рук, приступит к реке, — на того гневаются боги, ниспосылая ему за то скорби“. Чего тщательно остерегся Телемах. Ибо, готовясь молить Палладу, он омыл руки в море. Видишь ли, что обычай сей не ныне впервые измышлен, но за многие века прежде обдуман? Чего оный сле-

пой муж, всё видящий, Гомер наш, полагаю, не был в неведении, когда мать Ахилла, готовую молить Зевса, заставляет омыть себя волнами моря. Кто, впрочем, счёл бы, что и он изъяснил ещё большие, нежели сие, таинства? Но это к нашей беседе не относится. А что до третьего установления, которое ты нам представил, — его подтверждают славнейшие догматы древнейших писателей. Послушайте, что Софокл возвещает в сём ямбическом двустишии, — хотя и не столь изящно мною, однако, как полагаю, менее нескладно переведённом, — когда говорит: „Поистине единый есть Бог, что небо сие и землю вместительную создал“. Коего Еврипид велит именовать Зевсом. Чрез главу коего (воспел Орфей) всё вышло на свет, коего он в первом гимне тому же богу восхваляет как родителя всего единым словом, и как начало, и конец. А что следует далее — что прочие силы должно почитать служебными, — тому, поверю, ты научен стихами Гомера, восьмою книгою Троянской Рапсодии, где Юпитер в блистательной и величия преисполненной речи в сонме богов возглашает, что он — верховный распорядитель всего, а сии — низшие, и ничего им не сметь предпринять, кроме как по его мановению; а кто поступит иначе, тот будет низвергнут в тартар, — дабы явствовало, сколь Юпитер могущественнее и богов, и людей. Известен вам сей стих; как хотите, так и переложите его с греческого на латынь. И вот из этого искусно выводится четвёртый закон, как бы по некоему обычаю диалектиков. Ибо неразумен тот, кто, когда еди-

ный распоряжается всем поодиночке, напрасно прибегает к прочим — молитвою ли, обетом ли. Что

Навсикая, дочь Алкиноя, внушила: „Зевс сам мужам распределяет всё свыше, добрым ли, злым ли, — каждому по делу его благоволит“. Так отнюдь не Фетиду молил Ахилл, чтобы она принесла ему спасение против царя, от которого он недостойно претерпел насилие, но, простёрши руки, плача, молился так: „А ты, если сможешь, обними причину сына и умоли Зевса, взойдя на порог Олимпа“. Ибо его, владыку и отца вселенной, как говорит Менандр в „Дифиле“, мы почтим сею высочайшею честью, ибо он один — изобретатель и обладатель столь великих благ. Ведь природою нам врождено, что, хотя мы могли бы равно черпать из светлой жилы источника, — воздерживаться от ручьёв. Что же тогда? Неужели вопреки установлениям предков мы будем избегать вышних и просить столь великой помощи одного лишь Юпитера? Или скорее, по увещанию Феогида: „Должно мужу быть дерзновенным в трудных обстоятельствах“, — да отнимут они у вышних право молить оттуда богов? Но, быть может, как помощью друзей, так будем мы пользоваться и их содействием — как удобствами соседей, как советом родичей, как благоразумием людей, — насколько они могут быть нам полезны советом и утешением; наставлением коих, увещаниями коих и всегда верным побуждением мы, без сомнения, можем в любом деле сообразовать ум наш с божественною волею. Ибо они опытнее в божественном и луч-

ше нас самих знают нас и все обстоятельства наших дел. Оттого нас и наши дела вернее и много пригоднее подчиняют неизменным изволениям Бога-владыки, как бы верными лучами некие чистые тела, — дабы отсюда либо благо нам было, либо мы уклонялись от зол. Вот почему мы охотно то переносим. По воле богов, или когда они от нас отвращены, мы либо избегаем сей судьбы, либо приемлем её. Оттого была древняя молва, ещё в памяти отцов и предков, что богам присуще то величие, чтобы налагать судьбу на смертных. Недостойно для бабёнки, готовой уже отойти ко сну, то мнение, с каким она обращается к Улиссу в девятнадцатой книге (если правильно помню) сими словами: „Сколько благ кому назначили бессмертные — судьбу смертным, населяющим плодоносную землю“. Так Сократ объявил себя вразумлённым богом. Так Нуму водила Эгерия. Так никто никогда не был истинным пифагорейцем, кто не чтил бы богов. Им же, поскольку они благи, как ближайшие доли первого блага, подобают честь и благоговение. Ибо благим по самой природе следует честь и хвала, как свидетельствует Аристотель в „Нравственных сочинениях“. Поскольку старшим воздаётся честь, как бы некое воздаяние добродетели. Старшие же суть боги, и не как одни лишь товарищи наши, но и как правители, ибо по природе своей они больше преизобилуют разумом и разумением и оттого иногда именуются разумениями (интеллигенциями). Прочие положения, следуя твоим законам, по обычаю математиков подтверждают через

предшествующие постановления. Последнее также показывает Софокл, когда в „Оресте“ так говорит: „Превосходнейшим вообще должно повиноваться“. И в „Аяксе“ пользуется сими стихами: „Ибо у кого крепок страх и вместе с тем благоговение, тому — верь — вскоре достанется спасение“. А потому мне, Капнион, легчайше будет в этих твоих законах дать согласие, — в том деле, конечно, которое я за много тысяч лет прежде признанным мужами учёными и притом добрыми узнал». Тогда Барухия: «Немало, — сказал, — Сидоний, обнаруживается, что и век предков заблуждался. Не сочти же ты, что всему, чему предшествующие времена позволяют учиться, должно и следовать, — если только разум прежде не изучит, что оно истинно. Не хотел бы я утверждать это с какою-либо дерзостью двоедушно, будто желаю противиться сим обнародованным законам или коварно не доверяю прочим твоим доводам, которые ты, по превосходному твоему изяществу, а также по опытности в разнообразных предметах, преизобильно выносишь на средину. Ибо я и сам их также приму, — даже не будучи принуждён никаким выставленным доводом, кроме единственно власти божественного откровения. Ибо для меня несомненно приведённое у Цицерона утверждение понтифика Котты, которое он уверенно предъявил Бальбу: что в религии предкам нашим должно верить без всякого приводимого основания, — коих Платон уподобил сынам богов, ибо они наилучше знали родителей своих. И потому, как о делах домашних,

когда они что-либо утверждали, должно оказывать им высшую веру. Но людская суетность нередко к истинному примешивала кое-что ложное, чего едва и сами философы могли избежать без опасности для жизни. Так Диагора, писавшего о божественном иначе, нежели угодно было черни, обвинили в преступлении, объявив награду за его голову, и он поспешным бегством избежал грозившей смерти. Анаксагор в Афинах был осуждён на крайнюю казнь, а Сократ умерщвлён ядом. И наши мудрецы, коих некогда звали видящими (прозорливцами), а ныне зовём пророками, часто навлекали на себя негодование царей, иногда народа, а порой и самую смерть подъяли ради религии и божественного. Помните, как Иеровоам поднял руку на человека Божия, и она тотчас обратилась в сухую. Исаия был рассечён на части. Иеремия в Египте побит камнями. Иезекииль по повелению вождя в Ассирии убит. Даниил осуждён к зверям. Амос убит палицею. Михей ввержен в пропасть. Захария заклан у жертвенника. И не по иной причине все они пострадали, как от того, что мыслили о святом иначе, нежели невежественная чернь. Итак, весьма справедливо ты прибавил: „мужам учёным и притом добрым“. Но ничто ныне не терзает меня тяжелее, ничто не досаждаёт больнее, ничто не приводит в больший ужас, как лишиться — и не на время лишь, но и навеки — столь великой славы, столь великого блеска, столь доброй молвы у наших, у мужей учёнейших (коих по учению зовут талмудистами). Но коль скоро ты так хочешь, Капнион, да

будет по-твоему: отвергну я и Талмуд, — тот самый, в котором с нежных ногтей моих, едва я начал разуметь, всегда пребывала высшая отрада, а прочая жизнь была отраднее. Надеюсь также совершить пред Богом дело не неугодное, если то, что было душе моей всего любезнее, ради Него отвергну. Ибо ныне выпало мне — не знаю, случилось ли когда-либо в иное время, — легко обойтись без всего прочего, лишь бы не миновало меня познание столь святых имён чудес, какое ты нам, казалось, обещал, — или, если правильно храню в памяти, лишь бы не был я уличён в том, что нечестиво придираюсь к словам твоим. Некое слово (не знаю какое) ты, говорил, припоминаешь, коим мы, смертные, поставленные в природе, могли бы господствовать над природою и производить чудовищ, знамения, чудеса — знаки божества. Так что же, Капнион, да не останемся мы в неведении о сём слове. Ибо многие слова земляки мои держат почти под спудом и в тайне хранят то, что почитают чудотворным, — что и я тоже много перечитывал, но действия их никогда не ощущал. И это, быть может, оттого, что либо я не соблюл меры, либо вымышленное принял за истинное». «Ты сразу попал иглою в точку, — сказал Сидоний. — Ибо тут таится змея в траве; вот это-то немало и относится к делу. Ибо было и у меня некогда равное усердие к неким пустомелям, писавшим о магическом искусстве, недостойным того, чтобы им доставало бумаги под перо. Помышлял я, побуждённый указателем книги, что найду там некие дивные ухищрения, буд-

то бы действия Зороастра, Ормузда, Замолксиса, Эпикенида, Орфея, Пифагора, Останеса, Эмпедокла, или даже более поздние измышления — Каринонды, Дамигерона, Аполлония, Иоанна Дардана. Но послушайте, пока читаю, что это такое. Клянусь Поллуксом, не иное что, как оное Горациево. „Рожают горы, родится смехотворная мышь“. Развесил мошенник у дверей блистательные заглавия свитков и то лжёт, будто эта — книга Еноха, которую древность объявила божественнее всех прочих, то — будто она — книга Соломона, легко вкрадываясь в неучёные уши сею приметною догадкою, какую можно измыслить из книг Иосифа. Ибо говорит он в восьмой книге „Древностей“, что Соломон изобрёл против демонов искусство на пользу людям и для их попечений, установил заклинания против недугов, а также способы заклятий. К сему прибавляет опыт, который сам видел. Из священных же историй евреев вот что явствует: что Соломон в своё время имел обыкновение рассуждать о деревьях и травах, от кедра ливанского до иссопа; равно о скотах, птицах, пресмыкающихся и рыбах, — что всё могло бы являть по крайней мере природную магию. Но всматривающемся острее ясно выдаёт себя обманщик, лживое надувательство их, и в наш век давно уже сами свитки признаются вымышленными, — если кто рассмотрит и словоупотребление, и силу выражений, и самый род начертания. Ибо ничто не помешает ясно усмотреть, что все таковые книги в наш век произошли из смрадного логова одного заговора недавно. Затем,

если что они и вставили в свои свитки из деяний древних, пригодных для искусства, — всё же, при той грубости их в словесности, ничего в точности соблюсти не могут: ни самих слов, ни чисел, ни фигур. Ибо не ведают, что египтяне пользуются двойным начертанием, что, наконец, язык халдеев и евреев — один в непосвящённом, другой в священном.

С

2 Рейхлин, «О Слове» / «О Каббале».

Что необходимо свидетельствуют о магическом деле, мы пишем подобным начертанным образом. Итак, сии люди своего часа — и Роберт, и Бэкон, и Абан (Пьетро д'Абано), и „Пикатрикс“, и собор наставников, — по большей части из-за незнания языков не могли точно, как должно, направлять и наставлять руки переписчиков, которые от образцов писали вдвойне погрешая; и меньше ученики учились, и меньше делатели могли делать. Возвращаюсь же к тому, чтобы согласиться с Барухией: хотя я и вдоволь много прочёл таковых тайных книг, всё же действия их нигде не ощутил, — быть может, оттого, что не доставало и подходящего учителя, от чьего труда и дарования они зависели. Итак, снова — да не в тягость тебе будет поведать». И Капнион сказал: «Уже вечер, и близится то время, в которое не могут быть нами исполнены столь великие и столь божественные дела, поистине достойные священников и мудрых философов, и самого света.

Ибо не будем мы подражать брахманам, тем более что наш цвет кожи весьма светел, тогда как у них — от частейшего солнечного зноя, почти всё очерняющего. Также и место сие, столь несообразное сокровенным обрядам, столь неравное небесному дару, столь не в меру и чрезмерно непосвящённое для священных обрядов, — а потому, кажется, должно быть переменено; и во святилище (если и вы того же мнения) да убедят нас удалиться столь превосходнейшие таинства. Итак, отложить всё дело до завтра я счёл много лучшим, коль скоро есть возможность сойтись в моём загородном доме, почти в роще насаждённом. Меж тем в эту ночь помните о том, что мы среди рассуждения постановили: что более всего должно ощущать, и постоянной веровать, и явнейше проповедовать, и восхвалять. Ибо одна лишь правая вера есть врата чудес, коими, если пренебрежёшь, не сможешь проникнуть внутрь, и справедливо будешь удалён от святилищ и от собраний оракулов». Тогда Сидоний: «Весьма по нраву мне, — сказал, — и установленное, и время, и место. Ты же не сомневайся нимало в нашей вере. Верую, водимый твоею честностью вкупе с особою учёностью, во всё, что ни повелишь». «И я, — сказал Барухия, — не иначе как по мысли твоей уверую. А если бы не сделал сего, привёл бы мне Сидоний стихи древнейшего Лина, коими он предписывает, что всему должно верить. Ибо нет ничего невероятного, всё легко Богу, нет ничего невозможного: слово в слово стихи Лина (как вы знаете) сие внушают. Но и Паллада у Гомера (о коей

по сему случаю вспоминаю) выводится утешающею Ахилла такую речью: „Пришла я, чтобы укротить гнев твой, если поверишь“. Охотнее я и сам кое-что приведу, а именно историю Даниила, написанную не по-еврейски, но по-халдейски. Ибо единственно оттого, что сей здоровый муж уверовал бо-жеству, он невредимым избежал опасности от львов. Ибо так гласит истина сказания: „И никакого повреждения не оказалось на нём, потому что он веровал в Бога своего“. Итак, уверую и я наравне с Сидонием во всё, что ни повелишь». Тогда Капнион, тотчас вынеся некие таблички, показал их и сказал: «Дело идёт хорошо. Возьмите эти домой, каждый свои, — в них по образцу перечня кратко описано всё, относящееся к истинной вере, во что вам, я определяю, надлежит сперва уверовать, дабы не напрасно мы сошлись на условленную встречу. Будьте здоровы». Оба, расходясь, ответили. Тогда Капнион: «Прощай счастливо».

КОНЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ КНИГА ИОАННА РЕЙХЛИНА ФОРЦЕНСКОГО, КОТОРАЯ ОЗАГЛАВЛЕНА «КАПНИОН, ИЛИ О ЧУДОТВОРНОМ СЛОВЕ».

КНИГА II.

ПРЕДИСЛОВИЕ ТОГО ЖЕ ИОАННА РЕЙХЛИНА КО ВТОРОЙ КНИГЕ «КАПНИОН, ИЛИ О ЧУДОТВОРНОМ СЛОВЕ».

По благополучном завершении предыдущего дня, свя-

щенный предстоятель Дальбург, молю тебя терпеливо выслушать, каким образом три философа, пробудившись после сна, перед рассветом сходятся и целый день проводят, рассуждая о чудотворном слове. Сему дню предстоятельству-ет по преимуществу Барухия, как вчерашнему — Сидоний. Ибо ныне узнаешь ты много больше, почерпнутого из книг халдеев и евреев, к уловлению начал коих — так:

«КАПНИОН, ИЛИ О ЧУДОТВОРНОМ СЛОВЕ»
ИОГАННА РЕЙХЛИНА ФОРЦЕНСКОГО. КНИГА ВТО-
РАЯ.

НАЧАЛ СИДОНИЙ. Мы здесь, Капнион, и самый пред-рассветный час как бы упредили некстати. Ибо вот этого Барухию я вижу не идущим, но спешащим, дабы не пренебречь чем-либо из твоего. Не приложить ли мне шпоры? К чему — бегущему? Эй, ты, Барухия, во святилище! А тот, едва переводя дыхание: «Я здесь, — сказал, — и с тобою, Сидоний, хотя и немного позже, всё же, полагаю, вовремя, ибо заря согнала с неба влажную тень. Поистине достойно сие место философа; тому дивлюсь я, Капнион, что оно, вопреки обы-чаю твоего народа, — или, вернее, теперь уже нашего (ибо ты сделал так, что мы будем твоими), — не содержит ни идо-лов, которые вы по-латыни зовёте изваяниями, ни каких-ли-бо изображений, — разве что нечто таится во внутренних покоях и в самих сих святилищах. И вот — сам крест!» На это Сидоний: «Оставь, Барухия, ныне; или не знаешь, что на

табличках? Берегись причинить нам доuku, став виновником более долгого промедления. Но давай, Капнион, научи нас о чудотворном слове, — или, если оно окажется неким именем, притом и во множественном числе. Ибо мы в этом деле нимало не настаиваем, как грамматики; лишь бы оно было тем, коим мы, поставленные в природе, над природою (как ты говорил) сможем творить чудеса, — совершается ли сие предвидением, как бывают прорицания, или свершением самих вещей, коих естественная причина в народе неведома, и оттого они даже опытейшим мужам достойны удивления. Ибо есть некие вещи, так природою сложенные, коим мы дивимся, как виданным редко или нигде: как некогда гермафродиты-андрогины, как феникс, о коем поётся: „Сходится Египет ради дива столь великого зрелища, и редкую птицу толпа приветствует, ликуя“. Его, говорит Геродот, хотя и много времени ожидаемого, всё же нигде не видал, кроме как на изображении. Как равным образом от одних родов пятеро младенцев и прочее чудовищное. И если что мы сами, при содействии природы, устроаем как знамения, — как у Демокрита о печени хамелеона, сожжённой на верху кровли, что возбуждает дожди и громы, — как и деревянный голубь Архита Тарентского, коего он снарядил летать, — каковое и мы сами видели, и делать умеем. Сие и подобное сему мы производим либо когда сама природа действует при нашем ощущении, либо мы сами при содействии природы, — что физическое рассуждение легчайше доказывает часто

и людям неучёным, и ремесленникам, и умам мелким. Ни-
чему из сего я не домогаюсь от тебя научиться. Ибо оно так
распространено, что читается на перекрёстках и распутьях,
и даже в повседневных училищах софистов. Ни также те чу-
дотворные ухищрения, которые сулят астрологи — то в со-
ставлении изображений, то в резьбе перстней, как в предска-
зании событий или в распределении счастья и несчастья, и
вообще в поединичном приложении низших природ к недо-
ступной постижению власти небес; каковые, поскольку столь
обманчивы и столь разнятся меж собою на деле, что и сами
зачинатели той школы взаимно друг другу противоречат, и
требуют столь великого и столь непреодолимого тшания и
бесконечного труда, что под искусство не лживое подпасть
не могут, — предпочту я в покое говорить истину, нежели с
величайшими трудами всякого обманывать, при достойном
осмеяния условии, что оно нарочитым старанием учит лгать.
Ибо яснейший довод истины есть — согласоваться

О ЧУДОТВОРНОМ СЛОВЕ

...; напротив же, у лжи — раздор. Но что найдёшь ты в
том искусстве, которое зовёшь постоянным, твёрдым и на-
дёжным? Не о звёздных мерах говорю, ибо ничего нет вер-
нее их, как показывают и математики, и самый опыт, — но
о суждении, из них выводимом, у которого всякая стезя об-
манчива и мнение вздорно, особенно в том, что превосходит
тела, качества, стихийные расположения, мгновения года и
знаки времён, как намекает твой, Барухия, Моисей. Смот-

рите, сколь они меж собою разнятся. Ибо Абумасар, которого они чтут наставником и главою сей науки, где рассуждает о суждениях, говорит, что иные астрологи полагают, будто планеты означают лишь вещи всеобщие, как стихии и природные виды вещей; а о единичном, о частях его и действиях — движется ли что, покоится, жаждет — вовсе ничего не показывают.

Другие же мнят, будто звёзды являют то, что необходимо, — а именно что огонь горяч, а вода холодна, — но не то, что случайно, как то, говорит ли человек или молчит. Иные, наконец, полагают, что планеты предвещают перемены времён и насколько через них случается с телами. Позднейшие же астрологи следуют древним, и ни одно изречение древних не служит даже намерению судить, ибо говорят они, что невозможно ни мудрецам, ни самим астрономам сыскать что-либо о науке суждений. И всё же дерзают вводить учение, которым тщатся нас уверить, будто ведают даже мельчайшие помыслы и будто могут всю природу в вещах и извратить, и обратить вспять. Их ничуть не страшит предостережение Птолемея, утверждающего, что подобное предсказание большею частью нас обманывает. Ничуть не отвращает их скользкое основание их же начал, весьма подобное пустому вымыслу, которое иначе понимают древние, иначе Птолемей, иначе Хаймон, иначе Гермес. Ничуть — бесконечное стечение вторичных причин, что приключается душе вещи. Ничуть — столь великое расстояние светил от нас и бесчис-

ленные промежутки. Ничуть — столь неверное их скопище, столь непостижимое множество созвездий, — до того, что есть и такие, коих ещё не видали, и восходят первыми те, что, по собственному признанию, себя нигде не усмотрели, а между тем силою их надлежит равно допускать участие в восхождении и в управлении сущностями, — ибо крохотная звёздочка, которую одни зовут Псом, другие Сириусом, в шестерничный месяц придаёт владычествующим планетам столь великий жар, будучи едва различима. И не слишком настаиваю, чтобы ты изъяснил нам, какими способами через магическое действие случаются чудеса. Ибо я и сам немало времени истратил на это наваждение, — сколь тщетно, однако о нём не жалею, ибо тем легче могу высшими доводами отвратить прочих смертных от столь великой пагубы. Ведь если бы ты и всю жизнь провёл в столь святотатственном деле, то извлёк бы оттуда с трудом наконец не то, что есть, а то, что случайно видится, — да ещё с ожиданием крайней опасности для жизни и самой смерти.

Так и сам Роберт Английский у гельветов жалко скончался. И другого некоего, чьё имя умолчу, я знал, ещё жалче в плен взятого и молвою опозоренного. И о многих, весьма красноречивых в том искусстве, я слышал от вернейших людей, что они самым несчастным образом покинули сей мир. Ибо власти тьмы обыкновенно так награждают почестью свою клиентелу. А если и есть такие, что мнят упражняться в магии не узами и заклятьями злых, а тихим содей-

ствием доброго даймона, — что, быть может, так им и представилось, — то всё же настолько всё у них запутано, что прежде надлежит в точности соблюсти всё то, чем занимаются и астрологи, что мы выше немногими словами опровергли, вместе с предписанными обрядами их святынь, и всё перемешать. А сие для человеческого ума нестерпимо чрезмерно, чтобы не сказать — невозможно.

Ибо едва хватает всей жизни человека, чтобы прочесть столь многие книги той науки, из коих один лишь Меркурий (Гермес), обнявший всеобщее в священном, как передают, написал тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать пять. Что же думаете о прочих? Наконец, вот что тебе обещаю: даже если долгими бдениями, великим усилием, прилежным наблюдением ты сполна овладеешь тайными магическими и дивными секретами по изобретениям астрологов, — коими послушны были бы маны, смущались бы светила, понуждались бы божества, служили бы стихии, — будь то с неодолимою властью того учения и слепым насилием принуждаемых божеств, или, если предпочтёшь, свершив всякое действие при благосклонном сонме светлых богов, изведав его вполне, — всё же, поражённый и онемевший, изумлённый столь великою толпою демонов, нежели тем божеством, к которому ты в священнодействиях благосклонному, к...

II

...действию обыкновенно прибегаешь, — ибо оно предше-

ствует как предтечи и некая пышная свита, — ты придёшь в ужас и оставишь дело незавершённым, себе в убыток, а прочим на посмешище. Ибо, по свидетельству Ямвлиха и Порфирия, никому не ведомо, сколь великая сила и множество зачаровывают, когда нисходят и движутся боги, — кроме тех жрецов, которые самим трудом уже сие извели. И вправду, кто не воздаёт каждому подобающей ему почести и не уделяет всем того, что каждому пристало, и не угождает нравам их и милостями, и приношениями, и дарами, весьма сходными с их состоянием, — тот не достигнет ни присутствия самих божеств, ни желанных действий; подобно тому как в гармонии, если одна струна порвётся, вся вдруг разлаживается. Вот те места, вот те опоры учения и самые методы искусства. Итак, ты, Капнион, обещанием своим избавил нас от тяжкой доуки и невыносимого бремени, — ты, который пришёл освободить наши занятия от стольких звёзд, стольких демонов, стольких предписаний, стольких обрядов и суежных наблюдений.

Ибо, оставив в стороне небожителей, — сколь многочисленны и сколь велики те, что достаточно многочисленны по бесконечным помыслам, или идеям, первого ума, коих, как передают, ещё древний Орфей ввёл поименно триста пятьдесят богов, — мы рассмотрим лишь земные и ближайшие к нам божества, коих равной древности благороднейший писатель Гесиод в книге «Труды и дни» насчитал тринадцать тысяч. Каждому из них приносить жертвы — выше челове-

ка и превосходит наши силы. Но вот уже восходит солнце; начинай всё изящнейше, Капнион. Тогда он: Если бы, — говорит, — природа произвела меня в речи несколько обильнее и не столь угрюмым, поистине, сколь великая, как я про себя рассуждаю, надлежала бы тебе немалая благодарность, Сидоний, ибо ты явил такую чашу чудес, откуда нам достойных деревьев обильно хватило бы, чтобы пространно и великолепно возвести и украсить строение столь божественного труда. И будь я одним из школы Хрисиппа, весьма радовался бы этим богатствам изящнейшего твоего красноречия, тобою нам предложенным, из коих могла бы стать обильнее моя речь. Но ни к тому я не рождён и не наставлен изяществом, ни дело, о коем идёт речь, того не требует; более того — отвергает, ибо оно божественно и священо, — отвергает изобилие речи и разукрашенные пышными словами суждения, особенно в учении, единому Богу посвящённом, где всякого пятна должно избегать. Но всё же в священных писаниях нас увещают, что во многословии не избежать греха; не иначе и более изящная словесность велит, по слову Флакка (Горация): «Что ни предпишешь — будь краток». Ибо я и намеренно, и по необходимости намерен всё изложить как можно короче. Право, не завязалась бы у меня с вами высшая близость, я по обычаю пифагорейцев сперва каждого из вас насквозь бы рассмотрел, испытал бы природу, дух, рвение, склонность и возраст каждого; а от языка и слуха потребовал бы терпения и молчания. Ибо не всем, как гово-

рит Назианзин (Григорий Богослов), и не всегда, и не обо
всём дозволено философствовать о Боге, но есть кому, и ко-
гда, и в какой мере. Вас же в этом деле делают подготовлен-
ными и достойными сотоварищами вчерашние таблицы, ко-
торые вы храните дома. И ничего сверх того от вас не тре-
бую, кроме того, чего Теренциев Симон искал в Сосии, —
верности и молчаливости. Ибо вы обрели многие годы сверх
двадцати пяти, ранее какового предела никому из евреев —
что здесь Барухия по правде подтвердит — не дозволено ка-
саться писаний о божественных тайнах; и да будет меж на-
ми тот же, небесхвальный, обычай. Далее, не непосвящённой
толпе, но одним лишь священникам должно открывать сие
наше священнейшее служение, о чём о высочайших святы-
нях и Платон Дионисия Сиракузского, и Дионисий Ареопа-
гит Феофила тщательно и прилежно увещали. А священни-
ки, без всякого спора, — это мы. Пусть даже не возложена
на нас рука предстоятелей, — лишь бы вместе с почитани-
ем веры мы держались божественной мудрости. Ибо истинно
изречение Лактанция Фирмиана в тех книгах, что писал он к
императору Константину: что те суть священники истинной
мудрости, кто и священники Бога. Итак, чтобы не сочли нас
непосвящёнными, — тому препятствуют и рассуждение об
истинной философии, и благоговение перед единым Богом.
Одно лишь смирение делает нас достойными слушателями
столь великого предмета, надежда — внимательными, вера
— послушными. Но превосходнее всего — пламенная лю-

бовь, которая сохраняет нас в действии и дарует по молитвам исполнение. Итак, поскольку всё искусство чудес, если что-либо и может так истинно называться, как учёно и умело изложил здесь наш Сидоний, делится на три части, каждая из которых...

О ЧУДОТВОРНОМ СЛОВЕ

...сама по себе есть особая и собственная способность, — а именно в Физике, Астрологии, Магии, которая заключает в себе как Гоэтию, так и теургию, — и все они так связаны меж собою, так сродны и родственны, что кто обещает астрологию без физики — ничего не совершит, а кто дерзает преуспеть в магии без астрологии и физики — далеко отступает от истинного пути. Вы же сами всё это отвергаете из-за суетных исходов и после несметных и трудоёмких занятий — обманутых надежд, и вновь просите меня, чтобы я вступил с вами на четвёртый путь, который можем назвать собеседованием с самим собою (*soliloquia*), где всякое начинание удаётся ко благу и по молитвам просящих. Сделаю, насколько дозволено и насколько будет в моих силах, — в чём вы прилежнейше просите, ни в чём не откажу. Но прежде всего знайте вот что, издавна утверждённое и пифагорейцами, и самим Платоном: что постижение божественных вещей не может быть нами достигнуто никаким искусством, но истинное открывается свыше, — что и Плотин признал, и Прокл, восприняв, подтвердил, и о чём свидетельствуют не только

ваши, но и наши богословы. Подобаает нам сперва очищенными предстать и вверить себя боготворящему свету, и тогда, когда дождь той пренебесной воды снизойдёт на главы наши, — заградив чувства, спокойным умом ожидать, восхваляя порою и поклоняясь тому морю благодати, из которого притекает к нам борениями не только чудотворное имя и священные слова, но и всё чудесное, и божественнейшие изливаются потоки. Итак, вначале, когда мы простираемся ниц на землю, надлежит произнести сей гимн на ионийский напев и с должным ударением, дабы возбудить дух к священному.

Всех вещей родитель и зиждитель. Царь горних, свет народов, надежда людей. Трепет теней мрачного Флегетона. Любовь невероятная небожителей. Ужас неодолимый обитателей тартара. Славное благочестие земнородных. Адонай Адонену Элохену (אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ אֲדֹנָי — «Господь, Господь наш, Бог наш»). Басилевс пантократор протогенетлос (греч. βασιλεύς παντοκράτωρ πρωτογένεθλος — «Царь Вседержитель Первородный»). Бог единый, Бог тот же самый, Бог благой. Грядущий свыше, снизойди на нас.

Когда сей гимн был по обычаю произнесён, Капнион вновь начал: Всякое человеческое чудо, коего постигается истинная, а не воображаемая сущность, — большое ли, среднее ли, малое ли, — если соблюдён предписанный порядок священнодействий, должно всегда возводиться к Богу, коего славное имя да будет благословенно во веки веков. Ибо

Он один есть Тот, Кто — или Сам Собою, или через посланного не без Себя, или через поставленного от Себя — творит такое, чему мы дивимся и чему не можем познать соразмерной причины, — ни того, что совершается, ни того, что совершается сим образом. Заповедь сия извлечена из оружейницы священных писаний. Ибо так гласит божественный гимн: «Благословен Господь Бог Израилев, творящий чудеса един» (Пс. 71:18). Если един — стало быть, не люди; един — стало быть, не демоны; един — стало быть, не ангелы. Итак, один Бог — Сам Собою или через творения. Ибо доподлинно известно, что всякий, кто нечто делает сам, тот делает и через других под своим именем. И Аристофан тотчас говорит: царственный Юпитер — через кого-либо из богов, — не потому, что вместо высшего Бога правят боги-простолюдины. Ибо иначе отсутствовал бы Бог, чьё место они заполняли бы. Дозволит нам сие сказать философ — тот Вергилиев Овчар, что пел среди стад: «Всё полно Юпитера», — а вернее, что во имя Бога правят ангелы, ведут службы и исполняют вверенное им служение, коим подобает исполнять повеления, в коих Бог обитает, в коих несётся, и над коими шествует. Не иначе как и мы, смертные, — как говорит мой Павел — соработники Богу, коего, по свидетельству Арата в «Явлениях», мы и род равно с ангелами, в коих и через коих Он действует, что хочет. Итак, не мы творим чудеса, но Бог всеблагий всевышний, коему исповедайтесь, творящему великие чудеса единому, ибо вовек милость Его. Вот тут имее-

те вы, Кто есть делатель: ибо Бог богов. Имеете, какова причина действия: ибо вовек милость Его, и благочестие, и благодеяние, и благодать, — а не право, не суровость, не долг, не какое-либо, наконец, обязательство. Имеете, какова цель чудесных действий: ибо исповедание, и великолепие, и слава, и честь, и почитание, коего достоин Бог богов и Господь господствующих, коему исповедайтесь, ибо благ. Посему да устыдятся иные, — и притом почитающие себя наилучше заслужившими перед философией, — которые, наряду со многим прочим, немало шествуя стезёю безумия и умопомрачения, в особенности вот что усиленно тщатся: убедить нас...

II

...будто есть верное искусство, по правилу коего некоею необходимостью связуются воли богов — то теснотою слов, то узами начертаний, — тогда как без повеления они ничего не делают, а Тот, Кто повелел, привык не быть управляемым, но управлять, ибо Он высочайший и потому нисколько не подчинён низшим вымыслам. Далее, наваждений (*praestigia*) учение быть может, чудес же — никакого, кроме пламенного единения с божеством, коим не мы сами через Бога, но Бог через нас, угождая молитвам друзей Своих, нечто совершает, чему прочие дивятся. Итак, не безнаказанно Моисей в пустыне Син и брат его родной внушали народу, будто сами могут из твердейшей скалы извести воду; и не Виновнику приписали сие, но настолько сами себе присвоили, насколь-

ко возрастала слава имени их в народе. Божества же неразумно, — так что, остерегаясь, дабы не умалилось их достоинство перед подчинёнными, они допустили, чтобы оскорблено было величие Божие. За что и не дано было им войти в землю, кипящую молоком и мёдом, — дабы научились младшие, что действие чудес должно возводить к единому высшему величайшему Богу, творящему великие чудеса единому. Не нам, право, не нам, но имени Божию должно воздать сию славу. Итак, — говорит Сидоний, — ни мы чудес не творим, ни не может быть никакого искусства, коим научились бы мы их творить. А потому напрасно мы едва наконец дождались, что ты нам скажешь о чудотворном слове (*verbum mirificum*). Напрасно провёл я эту почти бессонную ночь в жажде узнать о том деле, у которого, как ты возглашаешь, нет никакого искусства и коего мы и сами не способны вместить, будь оно даже. Но, клянусь Поллуксом, вот что покажется мне, Капнион, дивным из дивнейшего: что ты ныне отрицаешь то, что прежде столь превосходно утверждал. Ты сказал, если верно помню, что мы сами суть творцы чудесных дел. Ныне же иное повествуешь: что ни боги, ни мы сами, а один лишь Бог. Клянусь богом, воистину в тебе такое непостоянство: то говоришь, то отрицаешь, — хотя против тебя мы можем ожесточённейше воевать и в битве побеждать делами, свершёнными во времена предков наших. Ибо, оставляя в стороне поэтическое о колдунье: «Что заклятьями сулит разрешить умы, остановить воды в реках и обратить свети-

ла вспять»; или из тысячи Лукановых магических: «Что песнью фессалиек в жёсткие сердца, однако, влилась не в меру усиленная любовь»; или о Пирифое, о котором первом говорят, будто он свёл с неба луну; или о Гомеровом превращении Цирцеи, или о Мароновом (Вергилиевом) о коварстве Протея. Предпочитаю состязаться с тобою историями, кои, хотя весьма бесчисленны, всё же, чтобы иные помянуть, ты не смеешь отрицать: что Тарквиний Древний по слову авгура Аттия Навия, как у Ливия, рассёк бритвою точильный камень; что Пифагор в одно мгновение был и в Фуриях, и в Метапонте; что Аполлоний из Смирны вдруг был перенесён в Эфес единым сказанным словом, — тот, о ком говорят, что и в Риме он тайно произнесёнными словами воскресил девицу, умиравшую в день свадьбы, — чему свидетелем оный знаменитый писатель Филострат.

По сему примеру и в той надежде мы уверились, что и ты нас наставишь равной учёностью, дабы, оставив тревоги магов, наблюдения астрологов, изыскания физиков, мы могли одними лишь устами нашими совершать внезапные дела, достойные удивления и молвы, кои доказали бы, что в нас — истинная философия. Ибо что пользы ежедневно узнавать многое чудесное, но никогда ничего не творить? О нас в народе мнение великое — о философии и о знании всех вещей. Ибо так её и описывают: что это, а именно, ведение вещей божественных и человеческих. Но молю вас, друзья наилучшие, какое дадим мы народу славное и блистательное

удовлетворение в наших занятиях, откуда таковых дел недостаёт? Мало того, что мы знаем буквы, кои и презреннейшие изучили. Ничуть не возвышает быть красноречивым, что природа даровала и бабёнкам. Ничуть и то, что мы беремся столь многие и столь запутанные вопросы схоластиков то запутывать, то распутывать. А потому толпа почитает нас скорее глупцами и безумцами, нежели мудрецами, — до того, что имя философии в наш век обратилось едва ли не в поношение. Жить благочестиво приглашают и языческие святыни...

...и нравы понуждают: посему весьма малым будет то, чем мы отличаемся от неучёной толпы, если не присоединим к нашему удивительному ремеслу и чудотворных дел. Тем-то и подвигнутый оный глава гимнософистов Феспион, — когда философ Тианский (Аполлоний), молвою об египетской школе привлечённый, из дальних краёв прибыл разведать их учение, — среди учеников мудрости, с коими он в саду ради беседы уселся, указал на вяз, что был третьим по порядку деревом от них, и сказал: «О древо, обратись к мудрому Аполлонию, дабы он признал, что не невозможно и нам обладать мудростью». И вот, по велению, заговорило с ним древо членораздельным и женским голосом. Ибо они не мнили себя признанными философами, если не являли чуда, превосходящего всякое чувство человеческого суждения. А поскольку ты это приписываешь одному Богу, людям же отказываешь, — не ведаю, каким образом ты стараешься умалить сво-

их, которые, однако, воспеты величайшею хвалою за творимые чудеса. Умолчу об апостолах, чья мощь, как говорят, была необъятна во всех делах круга земного. А что о дочери того Филиппа, что наставил казначея Кандакии, — одной из четырёх, Гермione, которая, будучи на глазах у Траяна нещадно избита розгами, не могла быть повреждена, а по смерти сего императора, вновь по повелению Адриана повешенная, пела гимны? Затем, положенная в котёл, где разведён был превеликий огонь, со свинцом и кипящею серою, воззрев на небо и начертав знамение, она сделала так — говорю скорее, чем сие случилось, — что и огонь угас, и свинец оплавился, при всех присутствующих: «О царь, — сказала она, — свидетельствуюсь Богом небесным, что я ощущаю жара не более, чем ты сам ощущаешь». Ибо всем показалось, что она пребывает как бы в росе и среди самих цветов. А когда котёл вновь разожгли, она осталась невредима, ничуть не иначе, чем прежде. Мог бы я привести летописи и деяния многих и о некоем Астре, по имени Пётр, сплести пространную повесть. Но я решил себя умерить, дабы не показалось, что я учу вас, учёнейших мужей, как говорят, — свинья Минерву; всё же об этом человеке хотя бы то припомню, что, как пишут, он посуху перешёл Галис Алаутенский. Тогда, — если ты понимаешь Капниона, Сидоний, — сказал Барухия, — как ты и должен внимательным и прилежным умом, — поистине многое ты нам по делу сказал впустую, если не ошибаюсь. Ибо он обоим нам верно предложил

то, что ты превратно принял. Припомни, что вчера он сразу же вывел, после неоценимого соединения, содружества, единения высочайшего божества с человеческою немощью: что мы можем в подтверждение такого рода божественного собеседования единым словом творить дивные чудеса. Я же сие рассужу так, как обыкновенно приписывают в народе действия тем вещам, из коих, как мы ежедневно видим грубым взором очей, они истекают. Каково у Горация в «Одах» стоит вот это: «И влекут машины сухие кили». Ибо если ты вникнешь в силу речи, а не заметишь скорее обычай выражаться, то не найдёшь никакой машины, которая бы влекла корабли, но мы сами хитроумно строим себе некие орудия, коими столь великую громаду легко спускаем в пролив. Оттого вернее было бы, что мы машинами влечём кили. Но более сообразуется с общим обычаем речи, чтобы мы вместе с поэтом сказали: «Влечёт машина сухие кили». Так и принуждены будем обвинить Гомера, равно с ним, что он о Ферекле такое пишет, — и что тот был во всём искуснейший мастер, и что он для Александра построил корабли, зачинщики всех бедствий, кои были пагубою и всем троянцам, и самому Парису. Что мы обвиним корабли Ферекла, кои без кормчего повредить не могли? Итак, урон нанёс Александр, а не корабли. Тут ты укори, Сидоний премудрейший, и величайшего из поэтов, что он сказал, будто корабли, на коих Елена была увезена в Трою, были фригийцам во вред, — а не скорее сына Приамова, что он, прелюбодей, совершил похи-

щение, или самого Илиона, что принял Елену. Но обычай, как во многом ином, так и в этом деле должен преобладать и среди нас, которые о божественном всё же говорим человеческою речью, — так что мы говорим, что исполненные духа Божия люди творят чудеса, хотя их-то преимущественно сам Бог творит через человека. Я же поверил бы, что ты не столь глупого вкуса, чтобы не разумел ты сего гораздо лучше меня; и всё же ты сетуешь, будто хотел бы пенять на медлительность Капниона, который держит нас в столь великом влечении к чудотворному имени напряжёнными, — то ли чтобы ещё жаждащими нас промедлением...

II

...извёл, чего, что до меня касается, статься не может. Ибо нет ничего нигде, чего бы я больше искал, — или чтобы этим промедлением он полагал вырвать шею из недоуздка и так ускользнуть от обещанного. Я думаю, тем менее следует сего испытывать, что он столь ценит честность, что почёл бы для себя стыдным до невероятной совестливости, если бы вёл дело неверностью. Но есть род людей, что охотно зарывают таланты и утаивают знания, и предпочитают казаться ленивее, лишь бы не учить, нежели, уча, порождать соперников. Не знаю, притворяется ли он, будто из их числа. Я же, право, в общении учёности желал бы, чтобы каждый был мне подобен и столь же щедр в изложении того, что носим в душе и что накопили мы учёностью. Ибо если кто, обольщённый,

быть может, любовью к себе, мнит, что я знаю, — я тотчас ищу слушателя, коего и молю, и порою едва наконец упрасиваю, чтобы он у меня научился; так более всего услаждаюсь я общением и щедростью в занятиях. Итак, испытаем на Барухии, Сидоний, — ответил Капнион, — правду ли он говорит или замыслил про себя сплести эту речь, чтобы легче загнать меня в тупик. И скажи о словах, кои твои соплеменники держат в тайне и почти под спудом, как ты говорил, схоронили. Ведь ты выхвалялся, что многажды их перечитывал. Я же серьёзно, ревнителям, соглашаюсь с вами, что евреи немало сообщили нашему искусству, коему и подражаем мы часто вернее, нежели прочим народам, — ибо об их вере известно, что отеческая память во многом хранила божественное и что они по обряду чтили Бога. И сделаю не по принуждению, — сказал Барухия, — дабы не показалось, будто я и славы ищу, уклоняясь, — ибо потерплю, чтобы столь великие мужи меня просили, — и одно говорю, а другое делаю. Немногое ведь я усвоил о священных именах от школы евреев, а потому немногими словами и изложу. Но заприте задвижку, дабы кто из слуг не подслушал и святыни не стали посмешищем для непосвящённых, и жемчуг гнусно не был попираем свиньями (ср. Мф. 7:6). Нарочно же попытаюсь говорить темнее, — лишь бы вы сами по доброте дарования уразумели, чего я хочу. Соучастие божества с человеческим умом делает так, что Бог пользуется человеком как орудием, — не иначе, чем учат перипатетики о деятельности

чувствующей и растительной природы. Ибо где бы ни была растительная сила в чувствующем, там растительное будет вместо орудия, а чувствующее — как главный двигатель, который, начав действовать, движет не к низшему себя, но через средства, обоим соразмерные, насколько сие возможно, производит подобное себе и то же самое. Ибо сила питающая и кормящая в животных посредством теплоты, — которая, однако, есть вестница некоего сокровенного и переваривающего свойства, — переваривает и претворяет сырую пищу. Ибо где теплота, там она не столько преобразует. Ибо иначе быстрее переваришь пищу на очаге, чем в желудке, — противоположность чему мы ясно видим. Но как бы некий знак и природный образ, пригодный к перевариванию, та теплота вмешивается словно некий посредник (проксенет). Оттого пища не пребывает, но переходит в иную сущность, — которую питающая сила претворяет не в траву или растение, ибо так сделалась бы она подобнее растительному; напротив, нарочно обращает её в плоть, наипригоднейшую к осязанию, дабы через осязание в ней мог обитать сам чувствующий двигатель. Итак, всепревосходнейший во всём Бог, Который по образцу Своему, по свидетельству Меркурия (Гермеса) Трижды Величайшего, создал два образа — мир и человека — восхотел обращать по кругу земному, как сказано в Притчах, и наслаждаться радостями в сынах человеческих. В мире Он играет чудотворными действиями не звёздною или стихийною лишь силою, но иногда и сокровенным

свойством. Как медики доказывают о Коралле или о привешивании иных вещей, — не потому что оно горячо или холодно, то или иное, но потому что таково, — как мы сказали о питании в животном: не главной теплотою, но через нечто таковое совершается претворение и переваривание. И как теплота природная в переваривании пищи есть словно тень, замещающая сокровенное свойство, так и в действиях, возникающих из тайного расположения вещей, — что одно единичное отличается от другого, — причиною тому не сама природа, как в народе мнят, но нечто более тёмное, что предшествует природе, — образ и первообраз чего в общей речи носит самое имя природы. Вот вам уже и о мире. Рассмотрим равно и о человеке, которого греки зовут и Микрокосмом, беседую с коим сам Бог услаждается более, чем миром, и которого, сообразно человеческому вместилищу, тщится преобразить в Себя, дабы чувствующее питать...

...чувствующее питание и пропитание. И делает Он сие в отношении к нам — теплотою любви, которую мы восприняли, а в отношении к Себе — сокровенным свойством, коего мы не ведаем, назовёшь ли ты его союзом, или неизреченным влечением, или ещё каким-либо образом.

Но хотя Бог мог бы всё сие совершать без всяких посредствующих причин, как единый всемогущий, соблюдая лишь немногие пределы действия, — всё же восхотел Он, чтобы многие соучаствовали в благодати Его. Их-то одни привыкли называть вторичными причинами, другие — силами, иные

— богами, или ангелами, или добрыми даймонами; а именно: всё то из них, что вступает как посредство, имеет к Движению сродственную соразмерность и вместе с тем к движимой вещи — не безмерное расстояние. Итак, Господь вечности, радуясь содружеству с нами, святой ум человека держит среди улад Своих, как близкий природе и происхождению Своему. И когда зрит его послушным в прилежном служении и непрестанном благочестии, всегда, словно преизобильная питающая сила, тщится — насколько позволяет человеческая немощь — единою теплотою любви, а поистине и сокровенным свойством, переваривая в Себя Самого, преобразить его, дабы и человек перешёл в Бога, и Бог обитал в человеке. Но подобно тому как то свойство, коим мы претворяемся в Бога и превосходим человеческую природу, есть для нас тайное и сокровенное, так по всей справедливости Бог дал ему и сокровенные, и тайные имена и вложил в них некие заветы, — при соблюдении коих, при должном их произнесении, Он сам тотчас, по нашей молитве, является. Далее, как в природном переваривании есть сила теплоты, которую мы познаём, и ещё сокровенная сила перевоплощения, которой не ведаем, — так в этом божественнейшем переходе в Бога есть некие слова, которые мы познаём, и некие, которых не ведаем. Обеим же частям подобает сия связь слов. Ибо Бог — Дух, слово — дыхание, человек — дышащий. Бог именуется Логосом. Слова именуются тем же именем; человеческий разум подобным речением выра-

жает то, что зачинает умом нашим и словом рождает. А потому, как Он избрал неосязаемое жилище ума, так избрал и осязаемое жилище слов, — не всякие, не случайно выпадающие, но те, что нам изначально установило божество, а не измыслило человеческое изобретение. Ибо ведает Бог помышления человеческие, что они суетны (ср. Пс. 93:11). Помышление, говорит, Божие — спасительно и здравотворно, пребывающе, непобедимо и верно: как мыслит, так и будет; как умом располагает, так и совершится. Господь вселенной определил, и кто сможет отменить? Итак, не всеми словами обладает божество, — если вы внимательно слушали меня, — но теми, которые высший Бог мира и людей, или прозорливые ангелы по повелению и промыслу Божию известным образом сложили, — звучащие гармонией вечности, крепкие божеством, дышащие сплетением благодетельного домостроительства, — как бы осязаемые памятники неосязаемого обожения. Опираясь на неподвижную твёрдость букв и вечную прочность гласных членений, они вместе допускают и непоколебимую чередуемость напева, и лёгкость произношения — не искомую и не вымышленную, но природную, простую и досточтимую. Через сих-то вестников Бог заключает союз с человеком, — не со всяким, но с тем, кто просияет святостью, благочестием, благоговением, а более всего — упованием веры. Итак, если некий определённый образ речи должен примирять человеческую смертность с силою Божией, подобает, чтобы те священнейшие — назовёшь ли

ты их именами или, если предпочитаешь, словами — были первичны, правильны и древни, — те, что вы порою зовёте варварскими из-за невозделанной, то есть простой древности. Ибо древнее приближается к веку, поскольку близко вечности, а вечность близка Богу, Который царствует превыше вечности. Оттого древними богословами Он именуется Ветхим днями, ибо предстоит царству всех веков. Потому варварское более сродно божеству. Оттого не без основания Зороастр, первый богослов язычников, воспрещает изменять варварские слова. Варварскими же зовутся еврейские или ближайше от них произведённые. Ибо цветистость речи и прелесть изящества после разделения евреев и языков были измышлены людьми скорее любопытными, нежели чистосердечными. А речь простая, чистая, неповреждённая, святая, краткая и постоянная — есть речь евреев, коею Бог с человеком и люди с ангелами говорили, как перед...

II

...дают, воочию, а не через толмача, лицом к лицу, — не через Кастилийскую волну, ни пещеру Трофония, ни древо Додоны, ни Дельфийский Треножник, но как обыкновенно друг говорит с другом. А если вы думаете, что сие мною сказано скорее в похвалу своим, нежели потому что я так мыслю, — сравните языки, и ни одного не найдёте чище, ни одного целомудреннее. О древности же и порядке, — если вы менее доверяете нашим историкам, — научитесь хотя бы от

ваших, что ни одного из всех писателей не сыщешь, кто был бы древнее Моисея. От него до взятия Илиона насчитывается триста десять лет, в какое время народом нашим правил Абесон, аргивянами — Агамемнон, египтянами — Ватер, ассирийцами — Тевтам. Пусть же тем временем кто-нибудь развернёт мне иной свиток, до Троянского разорения письменах преданный памяти, кроме книг евреев. Ибо лишь спустя сто пятьдесят лет наконец первейшие вещатели греков, Гомер и Гесиод, по свидетельству Цицерона, последовали за Троею, а немного прежде них был Орфей со своими священнодействиями. Но сие ничто в сравнении с нашим писателем, который издал писанные законы столь задолго до того. Ибо в прежние века Евподем, греческий историк о царях Иудеи, в благороднейших памятниках трудов своих оставил, что Моисей был отменно мудр и что грамматику и знание языка он передал иудеям, каковое те позднее по содействию даровали финикийцам. Финикийцы же затем передали греческим детям учение о начертаниях ради взаимной меж собою торговли. Чем, полагаю, был подвигнут Плиний сказать, что он всегда мнит первоначальные буквы ассирийскими, — хотя иные хотят, чтобы они были найдены у египтян, иные у сирийцев, — но что в Грецию из Финикии их принёс Кадм, числом шестнадцать. Разнообразие сие производит вся страна, взаимно смежная. И, быть может, ещё и то, что некие не весьма прилежные писатели называли Моисея египетским жрецом, как Страбон в шестнадцатой кни-

ге «Космографии». Что бы то ни было, Моисей, чьё писание дошло до нас, оказывается древнейшим, прежде которого не читается никаких памятников письмен. Сию древность исповедуют многие из греков, хотя один иначе, чем другой. И наш Филон, и наш, — более того, ваш — Фабий Иосиф (Иосиф Флавий), в сочинении о древности не пишет ничего чуждого Моисею. Равно и Полемон в первой книге греческих историй, возводя её ко временам Огига и Инаха. Аппион, учёный муж, у Поссидония, — что при царе Амосисе, царствовавшем в Египте, были они беглецами, — как в книге против иудеев, так и в четвёртой своих историй. И Птолемей Мендесский упоминает о том в египетских историях. Наконец, те, что почитаются славными в описании афинских дел, — и Гелланик, и Филохор, и Кастор, и Талл, и Александр, прозванный Полигистором, и легко первейший из всех историков Диодор, который Азию и Европу почти всю прилежно сам своими очами обозрел. Все они с обильнейшими знаками древности провозгласили его дивным вождём и превосходнейшим наставником в божественных вещах. Из чего да будет явно, что он превосходит всех прочих и столь великим временем, и древностью благочестия, и дивною мощью тайного действия, и учением божества. Ибо напрасно стал бы ты у греков искать слова, свыше нисходящие, и имена, наделённые божественным согласием слогов, — из-за новомодного искусства речи и новейшего разнообразия говора. Ибо греки, как говорит Ямвлих Халкидский, ученик Порфи-

рия, по природе жадны до нового и повсюду стремительно несутся, наподобие корабля, лишённого балласта, не имея никакой устойчивости. И не хранят они того, что переняли у других, но и это скоро оставляют, и всё из-за неустойчивости нового изобретения обыкновенно преобразуют в речи. И потому справедливо, как хвалят, ответил некий египетский жрец Солону у Платона в «Тимее», говоря: «О Солон, Солон, вы, греки, всегда дети, и нет среди греков ни одного старца, ибо ум ваш всегда юн, и нет в нём никакого от воспоминания о древности старинного мнения, никакого от времени поседевшего учения». Тем-то, быть может, подвигнутый оный Птолемей Филадельф, муж острейшего рвения в разыскании книг древности, — когда он почти наполнил Александрийскую библиотеку томами до без малого семисот тысяч, а недоставало опоры древности — Моисея и первых памятников старины, — говорят, тогда послал в Иерусалим царских послов, дабы они по куриям просили от каждого колена по шесть мужей, отменно учёных в греческом...

О ЧУДОТВОРНОМ СЛОВЕ

...и наипригоднейших для перевода Пятикнижия, — а вернее того свитка, который мы составным словом зовём Двдцдтйчтырёхкнжйем; и повелел им переселиться в Александрию, а когда они пришли, тот царь не в самом городе, но у Фароса, почти в семи стадиях вне его, — дабы им не мешал шум, — сообразно числу переводчиков воздвиг семь-

десять две келейки. Каковы Иероним, пиша к Дезидерию, не почёл бы баснословными, если бы внимательнее взвесил вставное замечание Иустина мученика, который утверждает, что сам видел следы келеек, ещё стоявших. Итак, было переведено для египетского царя писание евреев на язык греков, — дабы средь стольких свитков он не лишился первых такого рода начал, и дабы ему, как Солону, некогда не пришлось под понуждением истины признать, что ни он сам, ни кто-либо иной из греков не имеет никакого ведения о древности. Что нас с высшим основанием увещает, что для тайных действий отнюдь не у греков должно искать древних, божественному сродных имён; но и не у египтян, хотя учение их, как думают, древнее.

Ибо, как Сократ в «Кратиле» Платона философствует с Гермогеном: «Все божественные имена, конечно, преданы либо богами изначально, либо древностью, начала коей нелегко узнать, либо варварами». Но своих-то богов египтяне создали собственными руками, по свидетельству отца их Меркурия (Гермеса) Трисмегиста, заблуждаясь относительно природы божества, ибо не обращали внимания на почитание и благоговение перед Богом. Что же ищешь ты божественного в глиняно-человеческом? Каких святынь из твоих изобретений, каких небесных подмог от дел рук твоих должно тебе чаять? Как узнаешь ты знамения всепревосходнейшего и пренебесного присутствия и нисхождения высших властей от демонов, коих сотворили праотцы египтян, гре-

шащие против божества и заблуждающиеся? Ибо прочие боги горние, чей Творец вечен, обитают в высях, по философии египтян, и потому зовутся небожителями, и не смешиваются с нашими человеческими приманками. Стало быть, те другие, с коими было у них ежедневное собеседование в храмах и кои довольствовались человеческою близостью, — не боги, но демоны, произведённые праотцами против воли Божией, возникшие после рождения людей, и либо столь глупые, что не говорят, а лишь кивают, либо столь коварные, что льстят во всё творцам своим, египтянам, говоря всё, что усладит слух. Оттого ничего устойчивого, ничего твёрдого, ничего постоянного, ничего Богу угодного не сможешь ты почерпнуть, — Богу, коему не угодило и самое их порождение. Сии доводы вы можете уразуметь от превосходнейших философов той страны. Но и от первоизданной древности не притекли к сему народу священные имена божества, хотя и хвалятся они у Платона множеством лет, когда выставляют, будто деяния их заключены в тех девяти тысячах лет; но весь сей счёт я, поскольку убеждён верить о начале мира, почитаю исполненным басен. А если они не мнят сии времена ложными, — то от них же требую, чтобы и то они охотно допустили, что о вавилонянах и халдеях поминает Марк Туллий Цицерон, которые заключают в памятниках, как сами говорят, четыреста семьдесят тысяч лет, — каковое число намного больше числа египтян. Вавилоняне же, хотя они именуются и ассирийцами, всё же из древнейших писателей известно,

что были они те же, кого некогда звали сирийцами, кои Вавилон и Нин сделали главою царства. О чём Страбон, славный писатель, и весьма многие иные небезвестные писатели с великим рвением к изысканию древности передали о людях. А в Сирии благороднейшая земля — Дамасская, соседняя с Персией, откуда, по свидетельству Трога и Иустина, а равно и многих небезвестных историков, взял начало народ иудеев. Итак, иудеи, кои были и сирийцами, и ассирийцами, таким образом обладали бы намного древнейшими памятниками своего языка, — даже если поверим внешним писателям, — нежели египтяне.

Отчего и вышло бы, что иудеи и временем их превосходят, и Богом. Оттого имена евреев были бы священнее египетских, ибо и древнее, и переданы при почитании единого и первого Бога. Надлежало бы мне прибавить и то, что египтяне по грубости своей задолго до того, когда у них ещё не были изобретены начертания букв, писали образами самих вещей, — каковым письмом они доныне в своих так называемых священнодействиях, вместе с недавно измышленными нача...

I

...лами, пользовались. Остаётся, чтобы — если у египтян и были божественные и поистине священные имена, полезные в тайных чудесах, — они, однако, не от богов (коих мы, по превосходнейшему у них наставнику Гермесу, показали

быть демонами, позднейшими людей) и не преданы древностью писаний, в коих должны бы содержаться те имена, — что, конечно, книги евреев так или иначе намного превосходят. Испытаем же теперь по крайней мере ещё и это: не возникли ли они как бы от людей варварских, — что было третьею частью Сократовой речи. Научит нас Геродот, отец истории, во второй книге, что египтяне не желают зваться варварами, но скорее так называют все прочие народы. Но поскольку они столь гнушаются и брезгуют этим словом, как позорным для их страны, — потому и прозваны они варварами от врагов-евреев; подобно тому как о блуднице и распутнице мы порою в укор говорим: «О благородная жена». И были в то же время неблагородные блудницы — Киферида, Ориго и Арбускула. В том же смысле и Саллюстий: «Была у него, — говорит, — с Фульвией, женою благородной, давняя связь блуда». Видите, что подобающее добродетели ставится обесчещенным людям как бы в укор. Ибо немного спустя тот же Крисп Саллюстий утверждает, что большая часть знати против Цицерона, человека нового, пылала завистью, коим она словно бы почитала осквернённым консульство, — тогда, конечно, вернее поставив слово «знать». Так я разумею и онный псалом: «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова — из народа варварского, сделалась Иудея святынею Его» (ср. Пс. 113:1-2). Варварами же, полагаю, названы египтяне в презрение, ибо не хотели зваться варварами. Впрочем, «Лоэс» здесь скорее означает грубость и тупость.

Ибо буква обращена в «Лоз», хотя повсюду «Лоз» означает варвара. Пусть же устыдятся египтяне зваться варварами и подадут иск об оскорблении. И как примут они, — как говорит Зороастр, глава священнодействий, — сие священническое установление, когда оно воспрещает изменять в священнодействиях варварские слова? Итак, варварские слова, коими мы в священнодействиях неизменно и неоскверненно пользуемся, будут не египетскими, но скорее были они Моисеевыми. Ибо сей Моисей, еврей, перед Богом исповедал себя варваром, то есть косноязычным и тяжело говорящим, когда сказал: «Господи мой, я не речистый муж, но тяжкоуст и косноязычен» (ср. Исх. 4:10). Таких людей Страбон-космограф в четырнадцатой книге передаёт, что изначально были прозваны варварами, — по составленному имени, ибо говорили они с трудом, грубо и жёстко, как мы говорим о шепелявых и заикающихся, — здесь находя имена, сообразные с вещами, как «мурмур» (ропот), «клангор» (клич), «стрепитус» (шум), «крепитус» (треск) и иное подобное. И если угодно в точности разобрать все истории, найдём мы, что все народы Востока тяготеют именем варваров, кроме сего нашего Моисея с народом его, который открыто не отрицал, что он косноязычен и что речь его варварская, и сие письменами предал памяти. И нам самим, подражающим следам его речи, не подобает отрицать, что мы варвары. Не то чтобы наш способ речи был вовсе неискусен; ибо имеем мы наречие, устроенное по правилу, и упражняемся в грамматиче-

ском искусстве, и юношей-евреев наставляли Моисей Кимхи, магистр Эфод, — что мы на манер галлов толкуем, я, — «начальник длящийся», и Хатта, и прочие превосходные наставники, и уста, и трость наставляли. А потому не то чтобы мы были безъязыки и грубы, но потому что мы — первые из людей, коих все изыскатели древнейших вещей всегда почитали варварами. Не рассудив сего в точности, иные из наших дерзнули учить, будто варвары те, кто говорит не на святом языке, — как Соломон-схоластик в толковании гимна, который мы поминали, при истолковании этого слова «Лоэс», и некие иные начатчики. Но случается и с нашими то же, что и с прочими писателями: пишем-де стихи повсюду, и учёные, и неучёные. Я же вполне поверил бы, что знатнейшие египетские жрецы переняли у своих еврейские имена, коими действительно пользовались, когда хотели вывести на свет нечто тайное, — и что научились им не иначе как долголетним и сокровенным тщанием, как и вы сами можете научиться. Каковы имена, если бы не были некоторым образом чужды отеческому языку, не могли бы быть столь утаены, сколь мы видим в историях. Ибо хотя Платон и Евдокс тринадцать лет обитали в Гелиополе вместе с ними, всё же едва наконец сумели немного из тайных их слов через долгое и постоянное собеседование почерпнуть, — то, чем в памятни...

...ках своих делились. О философах же индийцев, которых зовут брахманами, не нужно долгого рассуждения, ибо что они начали от греков, — как многое иное бесконеч-

ное, так и тамошние во множестве изваяния нам доказательством, — кои и греческие, и по греческому обряду почитаются, как Минервы, как Аполлона Делийского, как Диониса Лемносского и Амиклейского, и прочие, о коих прилежно поминает в жизни Тианского Аполлония Филострат. Согласуются также индийцы с греками во мнениях и учениях. Ибо Иарх, по словам Аполлония, обыкновенно держал такое мнение о душе человека, каковое Пифагор передал грекам, а сам он — египтянам, — как будто наставниками египтян были брахманы; однако сие указывает не столько на порядок древности, сколько на обновление мнений, тем паче что тот же Иарх повествует, что жил в такое время, когда ни одного великого философа в Индии, ни какого-либо благородного дарования там не произросло. А у друидов галльских не должно искать многих человеческих веков, ибо все они философствовали почти по-гречески, и потому известно, что они позднее варваров. Слишком долгими речами дерзнул я утомить слух ваш, учёнейшие и человечнейшие мужи, по единственному моему пороку многословия, покуда сколько-нибудь пытаюсь утверждать, что для совершения чудесных дел должно избирать древнейшие варварские слова, — не финикийцев, не греков, не египтян, не индийцев, не друидов; прибавил бы: и не персов, если бы столь смежен не был язык Дамаска с соседством Персиды. Но лишь иудейского народа и того древнего еврейского, чья речь в смешении языков вплоть до Моисея, а после того и до нас, чистою

и святою дошла, равно возводя первое от начала мира установление речи, которое, как мы по необходимости полагаем, первородные приняли не от человека, но от единого Бога, — особенно в божественных именах, коих установление превышает человека. О чём слушаем Сократа, — дабы в рассуждении пользоваться мне скорее вашими писателями, нежели своими, — у Платона так говорящего: «Клянусь Юпитером (Зевсом), мы, право, если бы имели ум, Гермоген, поставили бы наилучшим правилом правоты — признать вместе с собою, что ничего мы о богах не ведаем, ни о них самих, говорю, ни об именах их, коими они сами себя называют. Ибо известно, что они-то называют себя истинными именами». Сие у Платона. Поистине, не темно, как мне кажется, ты говоришь, — сказал Сидоний, — и, сверх того, ты пригрозил нам, Барухия. Ибо почти всё сходится с нашею философией: и что Бог соединяет Себя с человеческим умом, и что радуется в нас, когда мы, сообразно нашему вместию, преобразимся в Него, и что через нас Он иногда действует, как обыкновенно мастер через орудия, а иногда, без всяких посредствующих причин, нечто вдруг творит. Ибо может Он и то, и другое; и если через нас что-либо делает, то с неким посредствующим средством, — которому надлежит быть таковым, чтобы соответствовало и Богу, и человеку. И это, полагаешь ты, суть наши слова, — как бы к Богу они приступают через заключённый дух, а к человеку — через осязаемый воздух, — что мне двумя словами, кажется, обозначил после

Демокрита оный Эпикур; не то чтобы я хотел, наконец, следовать за теми, от коих отрекаются, но потому что вобранное с нежных лет часто, когда нам сие на пользу, предлагает себя памяти, и тем не менее согласие мнений есть след истины. Ибо говорят, что голос наш есть «Реума логон» (греч. ῥεῦμα λόγου — «поток разума», у Рейхлина толкуется как «свет разума»), то есть свет разума. Ибо когда разум каплет на язык, разбивается воздух и рождаются слова. Так разум есть источник, чей ручей будет словом, — что в источнике сходится с Богом, а в ручье и потоке сходится с человеком. И как ничего нет в ручье, чего прежде не было бы в источнике, так, по Стагириту Аристотелю, ничего нет в голосе, чего прежде не было бы в замысле души; подобно тому как буквы суть знаки голоса. О чём так писал Аммоний-перипатетик (простите, если не изящно и не достойно слуха вашего перевожу), ибо говорит он: буквы лишь возвещают, вещи же лишь возвещаются; голоса же и разумения как возвещают, так и возвещаются. Ибо голоса единожды возвещаются, но двояко возвещают, а именно: во-первых, разумения, во-вторых, вещи. Напротив же, разумения двояко возвещаются, а возвещают единожды; возвещают и голосом, и буквами, но сими первое, теми — второе. Сие разнообразие являет нам, по наставлению и Аристотеля, и Аммония, природу слов наших, поскольку она сообщается отчасти с духом...

...отчасти с телом, — так что весьма пригодным считает, чтобы у меня с тобою было средним неким употреблением слов, примиряющим человека с Богом. И что ты избрал скорее те варварские слова, как более сродные божеству, — я не весьма противлюсь. Ибо уже, как говорит Ямвлих, боги одобрили ту речь варваров как наиболее подобающую священнодействиям, тем паче что сей способ речи явился древнейшим и первым. И поскольку первые люди получили имена от божества и смешали их с собственным языком, как бы соразмеряя с привычным и им сродным голосом, так они передали нам их для вечного сохранения, и мы так должны впредь правильно соблюдать самое правило предания. Сими наставлениями сам Ямвлих склоняет меня к твоему мнению. Разве что ты тщишься убедить нас, будто те, о коих сказал Зороастр, — «варварские слова не изменяй», — должны быть еврейскими. И поистине, Барухия, ты воспользовался столь великим дарованием и обилием речи и столькими свидетельствами историков, что легко склонишь меня к согласию, и ничто ныне не воспрепятствовало бы мне вполне тебе поверить, кроме одного лишь опыта древних, о коих говорят, что они не только египетскими и ассирийскими, но и греческими словами магов совершили дивные дела, и в отвращении опасностей и ускорении благ весьма преуспели. Ибо передают, что оный Орфей, последователь египетского Меркурия (Гермеса), первый предстоятель священства, богослов и вещатель, — будучи одним из аргонавтов, — своими свя-

щеннодействиями отвратил жестокую бурю, в которую бедственно попал, и первый показал гадания не только по птицам, но равно и по прочим живым существам. Однако тот же он пользовался для греков заклинаниями, как доказывают его гимны, которые и доныне на греческом существуют и поются. Пифагор же и Платон утверждают, что всем священнодействиям научились от египтян, а иные — от ассирийцев и халдеев, а прочие — от прочих, — кои, конечно, невероятно, сколь дивные дела людям явили. Посему не только у евреев, но и у иных народов есть священные имена.

Тогда БАРУХИЯ: «Священным» (*sacrum*), — говорит, — мы порою называем то же, что «святое» (*sanctum*), а именно то, что защищено и ограждено от обиды людской; порою же, как ответил Мартиан в гражданском праве, священны те вещи, которые посвящены всенародно, а не частным образом. Или, как писал искуснейший правовед Ульпиан, священно то, что посвятил государь или дал власть посвятить. Таким образом, всё, что мы посвящаем Богу и изымаем из обыденного употребления толпы, зовётся священным и святым, а порою и священнейшим (*sacrosanctum*), — какого бы племени или народа ни была святыня. Так тот жрец у Тимея повествовал Солону нечто: что деяния многих людей, достойные памяти, хранятся в храмах и святынях египтян записанными в письменах. Так и о самих посвящённых жрецах всего народа обыкновенно говорили, что они преданы Богу и освящены; как Вергилий воспел о Гелене, жреце Аполлона:

«Умоляет, — говорит, — о мире богов и разрешает повязки священной главы». И после сего в восьмой книге «Энеиды»: «А Цезарь, вступив в тройном триумфе в римские стены, богам италийским обет бессмертный посвящал». Иным же порою образом, и притом вернее, «священным» мы называем Бога, Творца всех вещей, как главу и источник всякой святыни; затем — по причастию Ему — всё, что после Бога свято, в чём сам Бог по своей воле пребывает Своим присутствием и силою. И сие отличается от предыдущего. Ибо там мы посвящаем себя Богу, здесь же Бог посвящает Себя нам и наши дела озаряет Своим содействием. И потому по всей справедливости мы называем священным то, в чём Бог поистине обитает. Не ангелы, не демоны, но сам Бог всевышний всеблагой величайший. И потому самих ангелов, будь то богов, зовём мы священными, ибо и в них тоже обитает Бог, чьё имя, как говорят, они часто носят. Напротив же, равным образом зовём мы гнусными непосвящённых (*profani*), от коих далеко отстоит Бог, как Стаций: «Братские рати и переменные брани, непосвящёнными свершённые в ненависти». Ибо, по первоначальному пути слова, как священное есть Богу нами посвящённое, так противоположное — далёкое от храма (*fanum*) и благоговения, что пребывает вне святынь, — дозволено будет толковать. Ибо настолько от нашего действия рождается сие священное, что от совершения священнодействий и «жертвенным» (*sacrificalis*) зовётся сам царь, который совершает священное, и «жертвою» (*sacrificium*) — то,

что совершается жрецом-жертвователем, и оно же самое зовётся «священным». Овидий в двенадцатой книге о превращениях: «Настал праздничный день, в который победитель Кикна Ахилл закланием Паллады умилоstellял...»

О ЧУДОТВОРНОМ СЛОВЕ

...кровью ахейской тёлки, как возложила она, идущая, на пылающие алтари; и взметнулся к эфиру чад: священную часть унесли, прочее же отдано трапезе. Ибо угодно, чтобы священные жертвы поглотили свою долю. Итак, я не стану отрицать, что священны образы, начертания, буквы и слова, или же имена и звуки, посвящённые нами божеству, — и не только у евреев, но также у египтян, греков и прочих народов, кои смертные по человеческому обету освятили и посвятили божеству. И не приведу я для сего дела примера более подходящего, нежели тот, что усматривается у Орфея, того древнего жреца и провидца, последователя египтянина Гермеса Трисмегиста и основателя пифагорейской философии, приведённого тобою, Сидоний, немного ранее, — в гимне, обращённом к Венере Лидийской, где он говорит: «Ибо вожди отечества нашего, чтущие божественное, близ городка воздвигли священный колосс». Некоторые, впрочем, полагали, что это принадлежит Проклу, поскольку он поминает своё отечество. Но послушаем же, коль скоро священные звуки уже даны, сложенную без спора к звёздам песнь Орфея. Первейших призываю чистых. Итак, то, что либо есть бог, либо, наконец, то, что не люди, но сам единый

преблагий превеликий своим присутствием и содействием освятил и силу свою в то влил, — то одно преимущественно прочего поистине должно называться священным, то есть то, что бог установил и для чести своей не человеческим при- манкам оставил. Оттого мы в народе называем святым язы- ком язык иудеев, и священными — письма, перстом Божи- им начертанные, и священными — имена, не людьми изоб- ретённые, но самим Богом установленные. Если же в чудесах какой-либо народ пользуется своими звуками, то это оказы- вается скорее наваждением, нежели чудом, и получает дей- ствие не от содействия Божия, но от соглашения с демона- ми. А сколь это опасно, между нами вчерашним днём обиль- но было рассуждено. Одним словом: сколь велико расстоя- ние между знамениями Божиими и гоетией (чародейством) и волшбою, столь же велика в священном разница между словами евреев и словами идолопоклонников, — чему мы научены через Моисея, который жезл словом Божиим обра- щал в змея. Египетские же чародеи, которых называли муд- рецами, человеческой выучкою, заклятыми словами наводи- ли на царские взоры подобные образы, которые в изобличе- ние наваждения Моисеев змей пожрал. Оттого не без учёно- сти показалось мне, что некий знатный философ недавно в Риме высказал: никакие имена в магическом и дозволенном деле не имеют равной силы, как еврейские или ближайше от них производные, — потому что все они первейше образо- ваны гласом Божиим. То же, чем природа преимущественно

совершает магию, есть глас Божий. Ныне же, Сидоний, не потерплю более, чтобы ты колебался в том, что по заслугам явно. Ибо верю, что многие народы к тайным своим обетам или сокровенным действиям примешивали еврейское не по иной причине, как чтобы вернее достичь желаемого. Что и об Орфее, Пифагоре и Платоне, полагаю, не должно сомневаться: ничто иное сокровенное у них не было столь тщательно утаено и столь сокрыто, как еврейские имена божественной силы, которые они никаким писанием не желали обнаружить, — как и тот же Платон Дионисию Сиракузскому о самом себе через послание намекает. Мог бы я, Капнион, попросить тебя научить меня причине, отчего и евангелисты, и Апостол, и прочие писавшие о делах Христовых перевели их на греческую речь, — а те немногие слова, которыми, как передают, пользовался сам чудотворец, не перевели заодно, но оставили их вовсе неизменными и нетронутыми, вставив в греческое варварские слова. Как то, когда дети восклицали ко Христу «*hōsthiana*», то есть «спаси, Господи», а после это по неискусству переписчиков было испорчено и ныне превратно говорится «осанна». Ибо более сведущий в греческой речи Лука, предвидя наперёд, — коль скоро знал, что пишет Евангелие для греков, которые сего речения по свойству своего языка выговорить не смогут, — счёл за лучшее умолчать, нежели дать испортителям повод к осмеянию. Прочие же три евангелиста, ничего того не убоявшись, ради приметной частицы «*на*», которая, как говорят, есть одно из

божественных имён, никоим образом не решились опустить «*hosthiana*». Марк также в том превосходном чуде, которое Христос совершил, воскрешая дочь Иаира, самые еврейские слова Христа, которыми умершая возвращена была к жизни и свету, не усомнился

приписать. Ибо, взяв за руку девицу, лежащую во гробе, Он двумя словами сказал: «*Thabita Kumi*», из коих первое относится к жизни, то есть «Воззри» (*Respice*), а второе — к восстановлению здоровья, то есть «Встань» (*Surge*). Затем некий не довольно тщательный переписчик то, что нашёл на полях повествования, дерзнул примешать к связи речи, так что ныне почти во всех книгах читается так: «*Thabita Kumi*, что значит в переводе: девица, тебе говорю, встань». Ибо не должно верить, будто евангелист перевёл то, чего по истине нет. Итак, «девица, тебе говорю» — всё это сюда вовсе не относится. И весьма дивлюсь я, что некоторые из тех, кто у вас немалой славою и именем во всяком роде наук и учёности пользуется, кого вы и высоко цените, в этом месте говорят, будто «*Thabita*» есть имя девицы, — как если бы должно было почитать за такового Христа, которого я, сколь ни был иудеем, всегда ставил выше и Аполлония Тианского, и всех философов. Ныне же, тобою наставленный, утверждаю, что Он превосходнее ангелов и всех богов, не только людей, и верую, что Он есть и был Богом. И потому будто бы должно полагать, что Он сперва пожелал разведать имя, коим заклясть таинственную песнь, — как и об Аполлонии согласны

все чародеи, который, когда избежал уже рук Тигеллина, или вернее Нерона, коснулся на дороге девицы, поднесённой во время брака и почитавшейся умершей, и вначале тщательно выведал имя девицы; получив же его, будто бы тайно нечто произнёс, отчего девица ожила. И у римлян был некий обычай, что, какой бы город ни осаждали, они тщательно выводывали имя того города. Зная же его, они имели обыкновение некоею песнью вызывать всех богов-покровителей того города и наконец одолевать. Оттого и сделалось, что никто не смел выдать собственного имени города Рима, дабы им не потерпеть от врагов своих подобного. Отсюда мы узнаём, что собственные имена вещей немало способствуют заклинаниям, — что да будет чуждо Тому, Кто всякое почитание демонов до основания упразднил, дабы даже в сём деле не пожелать выводывать имя девицы, которую прежде никогда не видел. Но слова «Thabita Kumi» наши так толкуют: «Воззри, Встань». Воззри — как на живую; Встань — дабы здоровой узрели тебя очи всех, — тебя, которую, повелением моим, да исповедуют освобождённой не только от смерти, но и от всякой немощи. Но напрасно я вам предсказываю то, что вы и сами у наших часто читали, испытав Писания, — как во псалме тринадцатом, коего начало «Доколе, Господи», в стихе: «Воззри, услышь меня, Господи, Боже мой». И в двадцать первом, что начинается «Боже, Боже мой», в стихе: «Исчислю все кости мои; они же смотрят и делают из меня зрелище». И во псалме тридцать втором: «Радуйтесь, праведные»,

в стихе: «С небес призрел Господь». И во псалме следующем, в стихе: «Взгляните на Него и просветитесь», где перевод ваш читает: «Приступите к Нему и просветитесь». И в славословиях, которые вы в первый час ежедневно поёте, в букве Гимель: «Открой очи мои, и уразумею»; где вернее должно поставить: «Воззри на чудеса закона Твоего». Ибо это то же самое слово «Habita», о котором нам ныне надлежало рассуждать, поскольку оно во втором лице образует «Thabita» или «Thabiti», то есть «да воззришь» или «воззри». Ибо, как латиняне часто имеют обыкновение употреблять будущее время изъявительного вместо повелительного, — как «попеременно будете петь, любят чередование Камены» вместо «пойте», — так и у евреев то же самое встречается весьма нередко, как здесь «воззришь» вместо «воззри». А «Kumi» само по себе есть повелительное, женского рода, как во второй главе Песни Песней: «Вот, возлюбленный мой говорит мне: встань, поспеши, возлюбленная моя», где ставится «Kumi», то есть «встань». Подобное вы найдёте во многих местах Священного Писания испорченным менее учёными, ибо в наш век богословы более имеют обыкновение примечать диалектические софизмы Аристотеля, нежели слова божественного вдохновения и Святого Духа. Оттого из рвения к человеческому измышлению самое небесное предание в небрежении, и говорливость людей угашает слово Божие. Ибо подобное же заблуждение переписчиков обнаруживается в Деяниях апостольских, которое у вас сдела-

лось общим и учёным, и даже наставникам, — в воскрешении Дорки из общины святых в Иоппии, каковая есть топархия Иудеи, как говорит Плиний, ближайшая к Лидде. Ибо там имя той женщины пишут неверно,

[Рейхлин, «О Слове» / «О каббале»]

как я часто находил как в греческих, так и в латинских рукописях неучёно написанным. По каковому примеру я поверил бы, что они погрешили и в вышеприведённом Евангелии. Но собственное имя святой ученицы было «Tabia» (Тавия), без всякого придыхания и без «t» в последнем слоге, что показывает толкование его — «Dorcас» (Дорка), и есть это ассирийское имя «Tabia», которое значит «серна», как читаем мы в халдейской книге, называемой «Ille Pithgamai». Кроме того, приходит мне ныне на ум и другое. Его слово, которое у Марка написано как реченное Христом. Ибо приводят к Нему глухого и косноязычного и просят, чтобы Он возложил на него руку. И, отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши его, и, плюнув, коснулся языка его, и, возрев на небо, вздохнул и сказал: «Hiphatha», что значит «отверзись»; каковое слово должно писаться в начале через «h», а в конце — через более сильное придыхание. Ибо это повелительное страдательное деятельного глагола «Patha», что значит «отверз», а в будущем «Ephtha», то есть «отверзу», — как во псалме семьдесят седьмом, в стихе: «Отверзу в притчах уста мои». И в пятидесятом, в стихе:

«Господи, отверзешь уста мои», — и так о прочих. Ибо вы не столько греческую, сколько еврейскую словесность знаете и учёны, — от страдательного «Niphtha», что значит «отверзается», образовать повелительное единственного числа мужского рода «Hiphatha», то есть «отверзись» или «да будешь отверзт ты», — как прогремело могущественное слово Христово. Придём же к преславнейшей Его смерти, — и, повешенный на древе, уже умирая, Он изрёк то, что во псалме по-еврейски двадцать первом, у вас же двадцатом полагается: «Eli, Eli, lama azabthani» (Или, Или, лама азавфани — Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?). Ибо так, как оно есть, приводит Матфей, — почему «Sabathani» даже говорится испорченно, по недостатку первого слога, который должен обозначаться через «а». Марк же немного менее исправно в этом месте соблюдают ваши, ибо ставит «Eloi», или по другим «Elohi» менее подобающе. Ибо «Elohe» — это «Бог», но «Elohiah» у евреев не читается. Могло бы, впрочем, через «Elohai» обозначаться «Боже мой», — но слова пророка не должно изменять, которые, думаю, умирающий Бог припоминал, и Псалтирь от начала страдания начал вплоть до того, как жизнь отошла. Наконец же, в последнем воздыхании гибели дошёл до псалма, который по семидесяти толковникам стоит по порядку тридцатым, — дабы и начало, и конец страдания одним числом завершились. Ибо, как говорят, священники иудейские обещали тридцать сребреников, прежде нежели был взят Христос, — так и Сам

Он Отцу Богу не столько обещал, сколько уплатил тридцать псалмов, прежде нежели умер. Простите мне, если не подобает дурное сравнивать с добрым. И рассмотрите тем не менее и обдумайте в душах ваших, сколь подобающе всё осуждение своё и муку сими тридцатью псалмами исполнил сей блаженный муж (если позволительно назвать Его мужем), начало ведя от времени тревоги, претерпенной в саду за потоком, о чём весь пятьдесят третий псалом упоминает. Где по образу прорицания Он пишет: «Я же к Богу воззову, и Господь спасёт меня; вечером и утром и в полдень буду звать и возвещать». Итак, Он во всё время страдания Своего беседовал с Богом и вечером, и утром, и в полдень, чаще втайне, — что через Давида предсказал прежде: «Молитва моя в недро моё возвратится». Иногда же нечто из тех же песнопений произнёс явно, что отчасти последователи Его, слыша вблизи, предали памяти, отчасти же, будучи, быть может, вдали, не слышали. Из услышанного же можем полагать, что было то, что Он говорил: «Eli, Eli, lama azabthani», и «В руки Твои предаю дух Мой», — коего надписание некоторые имеют «о исступлении», что весьма подобает умирающему, но у евреев не встречается. И не лишено то божественного таинства, что вслед за тем же и не прежде тридцатого псалма тотчас следует надписание «Maskil», то есть «разумение», ведение или наставление. Ибо после смерти Христовой, коего последняя молитва была сей тридцатый псалом, мы наконец начали разуметь и видеть, Кого пронзили и в Кого про-

бодали, — почему Он и молился особым обетом, чтобы Отец простил распинающим, ибо не ведали, что творили. Но покуда я слова

еврейские тщусь изъяснить обстоятельно, — те, коими нерушимо пользовались евангелисты при писании, — не знаю каким образом впал я в сокровенные покровы вашей веры, так что вы уразумели, что я неким предваряющим размышлением, а не столь внезапно обратился к вашему исповеданию. Тогда СИДОНИЙ: «Мой Капнион, — молвил он, — сколь сведущ он в божественной словесности! Что же принесу я к нашей беседе? Но, если верно помню, немалый покой уготовал мне Барухия, дабы я не был принуждён много рассуждать о священных именах. Ибо учит он нас, что одни лишь еврейские причисляются к воистину священным; сие он тщится утвердить как древностью, так и общением с божеством и некоею тесною связью Бога с иудеями, и тем, что речь их надёжнее, — и, наконец, многими доводами. Если же это истинно, то я, который более прочих извёл век на греческом и латинском, возрадуюсь, что улучил время слушать столь важное». И КАПНИОН: «Воистину, — молвил он, — дивился бы я столь великому его познанию в Евангелиях, если бы он не признавал, что задолго прежде немалый труд на них положил, — что и дело показывает, и предмет являет. Но послушаем его, покуда светло: ибо день уже перешёл за полдень. Ну же снова, Барухия, то, что о сокровенном и, как ты говорил, под спудом сокрытых словах ты

воспринял, — не уклоняйся изложить; оба мы и молим, и увещеваем, — нас, кого твоя речь (что бы ни говорил Сидоний) весьма услаждает, коей мы оба ученики». И на подстрекательство «велите» БАРУХИЯ молвит: «Должно повиноваться, — лишь бы вы не презрели простоты речи, ибо я никакими изяществами не наделён. И ныне, поскольку клонится к вечеру, я в ночи ещё, Капнион, буду теснить тебя, чтобы ты дал отчёт, отчего пишушие жизнь и учение Христа греческою речью удостаивают вставлять и еврейские слова его. Вы же, наконец, столь привыкли всякий обет, публичный ли, частный ли, заключать одним словом «Аминь», что и у Павла встречается». На это КАПНИОН: «Кратко, — молвит он, — разрешу, дабы ты не медлил. Однако не довольно безопасно в столь превосходном предмете пользоваться собственным вымыслом. Но приведу Оригена, светоч наших богословов, о котором сказано, что где он хорош, там никто не лучше. Ибо говорит он в книге против Цельса: в некоторых священных именах кроется дивная сила, и потому их не должно переводить с еврейского языка на иной, но должно сохранять в самих их начертаниях. Ты имеешь то, что давно желал вывести: а именно, что есть чудотворная сила божественных имён и молитв, ради которой и формы начертаний, и самые слова да пребывают неповреждёнными, — дабы не так, как при разрушении состава вола, в теле коего исчезают и дух, и вся равно сила. Кроме того, как отвечал Порфирию Ямвлих: если бы те имена были положены по челове-

скому уговору и соглашению, то не было бы разницы менять одни на другие. Но давно уже прежде мы уразумели, Барухия, и признаём за истину, что они восприняты от божества, а не разделены по-человечески. К чему прибавляет тот же славный пифагореец Ямвлих: ибо, говорит он, вовсе не тот же самый смысл сохраняют имена, переведённые на другой язык, но есть у народов некие свойства, которые другим народам голосом обозначены быть не могут. К сему прибавляется, что, если мы и можем свойства значений истолковать через другой язык, всё же не ту же самую сохраняют они, будучи переменены, силу. Сими писателями да будет тебе ответ; но берегись думать, будто я о всех словах мыслю одинаково с тобою, — а именно, будто они обладают тем величием, которое ты столь широко разглашаешь молвою. Ибо кто усомнится, что Бог всемогущий и, как говорят греки, всесо-держающий может украсить слова силами? Так власть Божия явна, но ещё не воля, которая одна есть причина вещей. Ибо всё, что восхотел Бог, сотворил на небе и на земле. А потому, пока ты не покажешь, что Бог сего восхотел, и что то или иное слово такою-то и такою-то силою обладает, — ничего ты не сделаешь». — «А я, — молвит БАРУХИЯ, — не вас учить, но то, что некогда о сокровенном из одного собрания воспринял, пересказать обещался; и если сей долг исправно исполню, будет мне, конечно, приизобильно, чему радоваться; и ни к какому иному столбу себя не привяжу. Поскольку вчерашним вечером единогласно было решено (что,

не знаю, у вас как-то сомнительным было бы), что в божественных вещах должно верить, что Бог может всё, — что душа наша по самой природе своей постигает, — коль скоро Бог превыше всего и от Него всё зависит, как сущее, так и не-сущее, как утверждают и превосходные богословы. Итак, высшее могущество, более того — превыше высшего, всякой власти превосходнейшее, как к существующему, так и к несуществующему, пребывает у Бога, и никакими пределами не ограничивается. Иначе оно не было бы высшим или превыше высшего. И если Сам Он явит его пребывающим в слове или в вещи — не важно, лишь бы Он там пожелал, чтобы сила Его обитала. Сие же определение Божие и волю Его мы явственно познаём либо из опыта дел, либо из речения божественного вдохновения; к каковому месту необходимо приладить и Священное Писание, и учения созерцательных мужей (устах коих глаголет божество), и героические истории блаженных. Ибо кто познал ум Господа вечности? Никто, кроме собственного духа, который внутри Него, и, наконец, того, кому Он Себя открывает, — как в человеке помышлений его не познало ничто из тварей, ниже его самого, кроме одного духа его, который в нём, — или какой-либо друг, коему дух через человека, либо человек через дух свой возвестил или знаками показал. Что так глаголал Бог с Авраамом, Моисеем и Иисусом Навином и силы божественных слов им показал и дивными действиями подтвердил, — то и учёные, и сами испытывавшие удостоверили, наши предки, и

нам, отпрыскам рода своего, письменами предали на память, — что и мы, с благодарной душою приемля, ежедневно, если хотим, испытываем и ощущаем. Но чтобы приступить к делу, тем, кто желает услышать о чудотворном, да придёт на ум то, что выше нами обильно обсуждено: что один лишь первый и величайший Бог знамения, чудеса, дивные явления преимущественно творит, — какие только истинны и не суть наваждения, — либо когда ангелов Своих иногда удостоивает божественной чести и повелевает им совершать чудесные дела, однако во имя Своё, дабы не отдать чужим чести Своей и славы Своей иному, и дабы не отвратился человек к почитанию твари, оставив Творца. А потому имя Своё Он влагает в ангелов, дабы, — чего Он всегда жесточайше гнушается, — не был через нас допущен культ образов, который по-гречески называем идолопоклонством. Оттого к народу Своему говорит: «Вот, Я посылаю ангела Моего, дабы он шёл пред тобою и хранил на пути и ввёл в место, которое Я приготовил. Блуди его и слушай гласа его, и не почитай его достойным пренебрежения, ибо он не отпустит, когда согрешишь; ибо имя Моё в нём». Итак, поскольку от Бога во-первых, а во-вторых от ангелов, по обету нашему, совершаются чудесные дела, весьма подобающим показалось мне сперва о божественном имени, которое, как признаётся, к самому Богу относится, — сколько памяти достанет, — рассуждать; затем же и о том, что и ангелов иногда касается, по скудости человеческой немощи нашей должно будет сказать. В сём де-

ле сохраним порядок, дабы прежде вам перечислить те имена Божии, коих значение издавна явно; после же коих попытаемся о тех, коих значение ещё не явное или немногим открытое мы восприняли. Итак, тайными именами дерзнули писать многие из нас на памяти отцов, и из ваших также некоторые донныне читаются, — а потому в рассуждении легче будет моё дело, если о тех я вкратце изъясню, которые вы пространно у различных писателей описанными видели. Иероним к Марцелле десять имён Божиих поминает. Дионисий Ареопагит — около сорока пяти, иные — семьдесят два, иные более, иные менее, каждый по разумению. Кто же может определить число имён Того, Кто и неименуем, и всяким именем прославлен? А потому не станем ни сами себя загонять в угол, откуда не сможем вырваться, ни столь вяло и небрежно вести дело,

чтобы нас обличили в том, что мы никакой памяти о божественной чести не храним. Вам же не желаю я, чтобы вы соглашались с моими словами более, — да и сам не иначе соглашусь, как дозволяют священные речения, — дабы против Бога прееблагого я, брение и дышащая глина, червь, а не человек, не показался обидчиком и другим Озою, коснувшимся ковчега и прибавившим нечто сверх того, что Сам Бог изрёк. Ибо первым грехом рода человеческого, полагаю, было то, что мать всех живущих Ева более прибавила к словам Божиим, нежели Сам Бог сказал, — что для последующих злодеяний было началом и божественной кары истоком.

Ибо прежде нежели создана была жена, сказал Бог Адаму: «От всякого дерева рая ешь; от дерева же познания добра и зла не ешь». Ева же, недавно рождённая, — посмотрим, как она изменила слова Творца, — говоря к змею, о плоде рекла дерева, «которое посреди рая: заповедал нам Бог, чтобы мы не ели и не прикасались к нему, дабы нам не умереть». «Мы не ели» — местоимение множественное, тогда как никогда Еве Он не заповедал, чтобы она не ела, ибо она тогда ещё не была рождена. Прибавила: «И чтобы мы не прикасались к нему», — чего и Бог не говорил. А потому, желая выставить Господа лживым, снова прибавила частицу сомнения и неверия, говоря: «Дабы нам не умереть», — что Творец единственно и твёрдо одному Адаму угрожал: «Ибо в какой день вкусишь от него, смертью умрёшь». Оттого и змей за совет, и Ева за содействие, и Адам за преступление понесли кару. Итак, дабы и мне в то же прегрешение или преступление пред грозным Творцом вселенной не впасть, должно молить высшую Его милость, чтобы Он более на благоволение наше и благочестие, нежели на падение, воззрел, если случится, что оступится нога; в каковом деле да благоволит Он помочь из сокровеннейших глубин любви Своей к нам, ради славы и чести имени Своего, во веки веков благословенного. Что же есть то столь славное слово, столь действенное, столь досточтимое, столь спасительное, коим мы легче достигаем исполнения обета, — коль скоро, как мы сказали, обретается много имён высшего Бога, — надлежит рас-

смотреть. Ибо то, что пророк Захария восклицает: «В день оный будет Господь един и имя Его едино», — вразумляет нас, что в сие время много имён Божиих, потому что в будущем веке не будет, кроме единого. Что тянем часы? Что напрасно теряем время? Что долго медлим, будто нужно много рассуждения о том, как То, что не имеет имени, может обозначаться столь многими именами? Разве иное имя пребывает у божества среди горних, нежели у смертных? Или прекратится ли обычное сему миру именованию в будущей жизни душ наших? Имеет ли Бог имя, когда мы рассматриваем пребывание Его в Себе Самом? Или же тогда не будет Ему никакой нужды в имени? Оставив всё то, что к делу относится не более, нежели к промедлению дела и замедлению труда нашего, немногими словами покончим. Ибо хотя высшее божество среди бессмертных, среди небожителей, среди пренебесных по свойству своему, как правдоподобно, называется неким преизбыточествующим именем, — всё же будем более рассуждать о том, что к делу нашему относится, говоря, что, по человеческому созерцанию, из священных имён, божественно нам преданных, нечто мы приписываем сущности, нечто — силе, нечто — действию, прочее же — нашему к Богу расположению. Сущностью же я называю отделение Бога от вещей и всесовершенную замкнутость в Себе Самом и крайнее, как говорит тот знатный философ нашего века, — в отдалённом убежище божества Своего глубочайшее и уединённое отступление, сокровеннейше в

бездне мрака Своего Себя укрывающее. Согласно сему, стало быть, утверждают, что Бог Сам Себе установил у людей досточтимое имя, — ибо один лишь Он Себя познаёт, а потому один лишь Себе имя полагает. Ныне же посмотрим, каким доводом это заключают мудрые мужи и что есть то святейшее имя сущности. Сказал Моисей Богу: «Вот, я пойду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам; и скажут мне: как Ему имя? Что сказать им?» И сказал Бог Моисею: «Ehieh — Который есмь» (Эхйе ашер эхйе — Я есмь Сущий); и сказал: «Так скажи сынам Израилевым: Ehieh послал меня к вам». Сие имя Платон в той своей пространной

странствии у ассирийцев узнал и наконец перенёс к грекам двумя буквами «Он» (Он — сущее). Ибо в «Тимее» он говорит так: «Итак, по моему мнению, сперва должно различить, что есть Он, то есть сущее, которое всегда есть, а возникновения не имеет, и что есть то, что возникновение имеет, но никогда не есть. Первое постигается разумением с рассуждением, всегда само по себе сущее; второе же воспринимается мнением с неразумным чувством, — рождаемое и тленное, как то, что никогда не есть». Сим именем Платон различает мир и Творца, и множество изысканнейших мужей последовало за ним, — кроме лишь того, что некоторые переменили средний род в мужской. Ибо Платон именует Творца, превосходнейшего во вселенной, тем, что есть, единым словом «То он»; но весьма многие последователи его

называют Его «Тот, кто есть», «Ο ον». И эта перемена равно подходит евреям. Ведь, поскольку природа не следует чувовищному, она имеет лишь два рода, мужской и женский. И потому слова среднего рода латиняне и греки почти всегда легко объемлют своим мужским. А потому, говорит ли «кто есть» или «что есть», своим сущностным именем у Моисея Он произносит «Ehieh», которое производят по правилам грамматики от глагола-связки «Haiah» (быть), прибавив к предыдущему одну букву. Не знаю, вполне ли простительно мне в столь изящном деле говорить пред вами, красноречивейшими борцами, столь варварски. Но пусть рассуждает какой-нибудь Демосфен или Цицерон, — воистину я поверил бы, что и он в тайнах Божиих будет нем и безъязык. Ибо так ваш Ориген, не уступающий никакому из блистательнейших ораторов, в двадцатой, если помню, беседе на Исход говорит почти в сих словах: «Все люди в сравнении со словом Божиим не только неречисты, но и немymi должны почитаться». А потому, если вы переносите от меня доuku непрестанного варварства, я охотно продолжу». — «Ты же продолжай, — молвит СИДОНИЙ, — ибо не сокрыто от нас, что сия область труднейшая из всех; и притом я сам полагаю, что божественное никак невозможно достаточно изречь по нашему обыкновению, — памятуя о том, что история повествует о Симониде, муже превосходной учёности. Ибо, когда тиран Гиерон спросил его, что есть Бог, тот испросил себе на размышление срок в один день. Когда же Ги-

ерон, вернувшись назавтра, спрашивал о том же, Симонид попросил два дня. И когда тиран всё чаще о том же вопрошал, Симонид всякий раз удваивал ему число дней. На вопрос же Гиерона наконец, отчего он так делает, «Оттого, — молвил, — что чем дольше рассматриваю, тем темнее мне видится предмет». А потому дивлюсь, что ты доселе и столь ясно смог изложить сие дело нашею беседою, — а посему не задерживай нас более». К тому же побуждает и КАПНИОН. Тогда он: «Вы имеете имя Бога вышнего, которое некоторые люди не без невежества почли первейшим из всех, поскольку оно, по-видимому, обозначает самую сущность Божию и ни с какою из вещей не сообщается. Ибо вне Бога нет того, что есть, поскольку всё существует некоею соразмерностью состава. Один лишь Бог простейший, и потому есть Тот, Кто есть; всё же иное есть то, чем есть, а не то, что есть. Однако вступают иные мужи, немаловажные и усерднейшие в созерцании сокровеннейшего, много ближе подошедшие почти к самым глубинам божества, — те, кто наблюдательнейше взвешивают величие некоего иного имени и превыше сего имени «Ehieh», или «Он», полагают иное. Ибо, как изъясняет твой, о Капнион, оный Ареопagit Дионисий: «Сам Он, то есть Который есть, по мере сил есть нечто сверхсущностное всего бытия, основоположная причина и зиждитель сущего, самобытности, субстанции, сущности, природы, начало и мера вечностей и времён, и сущность, и век сущих, и время того, что происходит, и бытие для того, что каким бы

то ни было образом есть, и рождение вещей, которые каким бы то ни было образом рождаются». Здесь не тёмно усматривается стечение первого сущего с сущими, коим Он подаёт силу пребывать. И хотя простейшую сущность Божию, которую просто и свободно Он даёт познать Себя, равно как всё в Себе объемлет, — самое бытие, превосходно изъятое, так что оно есть сверхсущностное всего бытия, — всё же имя это обозначает Бога не как заключённого и покоящегося, но как вззирающего на самые вещи и сообщающего Себя с вещами, коим Он дарует самобытность. Как из

КНИГА

тех же слов Дионисия, которые вы уже слышали, вы легко уразумеете после напряжённого размышления. А потому, рассматривая обособленное отступление в Себя неизреченного пресущия, святейшее имя «Нх» (Ху — Он) чтут прежде всего и его полагают пред «Еһieh». Что и Исаии, благороднейшему из пророков, Сам Бог явил, говоря: «Я Господь, Нх есть имя Моё, славы Моей не дам иному». Видите, что реченное имя содержит свет под спудом и стягивает лучи, и обозначает Бога, уединённо пребывающего в сокровенных убежищах, без всякого истечения сил, но содержащего Себя в простейшем и совершеннейшем самопребывании, не исходящего, ничем не управляющего, но всё допускающего, что благо творится — приемлющего, что же зло — не воспоминающего, — как далее в том же пророке глаголет Бог: «Я,

Я есмь Ну, изглаждающий беззакония твои у Себя, и грехов твоих не вспомяну». Ибо то, что Ну славы Своей не даёт иному, что не воспоминает грехов, что изглаждает беззакония у Себя, а не ради чего-либо вне Себя, — являет значение имени, поскольку Ну означает Бога, так отделённого от вещей, что всё внутри Себя Самого либо творит, либо допускает, либо покоит. И часто это имя предпосылает следующим за ним отрицательным речениям, как немного выше глагола Бог: «Да уразумеете, что Я Ну; прежде Меня не был образован Бог, и после Меня не будет». Сие столь величественное и приметное имя некогда греческими философами, а особливо платониками, названо было «Tauton» (Таутон — То же самое), латинянами же — «Idem ipsum» (То же Самое). Ибо псалом сто первый о Боге возвещает так: «И Ты еси Ну, и лета Твои не оскудеют», — что вы по-латыни в собрании священнодействий воспеваете: «Ты же тот же Самый еси». И имя «Idem» Вергилий приложил к Юпитеру с тем же самым разумением, когда Юпитер провозглашал оракул, говоря: «Какова кому ныне судьба, какую всякий питает надежду, — троянец ли будет он, рутул ли, без различия приму; будь то по судьбам италийцы держат стан осадой, или по злему заблуждению Трои и зловещим знамениям. И рутулов не освобождаю: свои каждому начинания принесут труд и удачу. Царь Юпитер для всех один и тот же (idem)». Видите, имя «Idem» приписано царю Юпитеру. Итак, столь великого величия, столь защитительное и вспомогательное

слово «Tauton», что есть «Ну», — сверхсущностно вечное, неизменное, в Себе Самом пребывающее, по тому же и тем же образом Себя имеющее, всем равно присущее, само по себе в Себе Самом твёрдо и нерушимо утверждённое в прекраснейших пределах субстанциального тождества, непреложное, нестигаемое, неизменяемое, несмешанное, невещественное, простейшее, ни в чём не нуждающееся, неумножаемое, неумаляемое, нерождённое, — не как ещё не рождённое, или как несовершенное, или как не от того или иного рождённое, или как нигде и никаким образом не пребывающее, — но как превыше всего нерождённо и совершенно нерождённое, и всегда сущее и в Себе совершенное, и то же самое согласно Себе Самому и от Себя Самого единообразно и тождественно ограниченное. Боюсь здесь, переводя греческое, дурно оскорбить учёный слух. Но, быть может, не пред претором мне речь держать, и не как в судилище и на скамьях сидите вы, слушатели, но в Академии сокровеннейшей философии, которая более желает нагих вещей, нежели украшенных слов; коим, если бы это было мне возможно, я должен был бы, по Горацию Флакку, вместе с вещами говорить и приятные, и подобающие слова. Как бы то ни было, я поставил бы возвышенное достоинство сего имени на вершине всех, если бы оно иногда не сообщалось с вещами так, что нередко истекает в самом низу, в сие подлунное, и отсюда берёт себе прозвание, — всё, что мы почитаем существующим не как иное, но как то же самое, — не

только в субстанциях, как Дидона к Энею: «Ради тебя, того же (eundem), угасла стыдливость»; но также и в том, что следует за субстанциями, как Анна, сестра Дидоны: «Той же участи (eadem) ты бы меня призвала, и та же (idem) обеих скорбь железом и тот же час унёс бы». Также о спутниках Энея Вергилий: «Тот же (idem) всех разом объемлет пыл». Каковое причастие вещей к тому же слову изъяснил, мне кажется, Исаия, через коего Бог глаголет: «Я Ну, Я первый и Я последний». И немного после, в главе сорок

О ЧУДОТВОРНОМ СЛОВЕ

первой: «Я, Я есмь Ну, утешающий вас», — чем ясно нам открывается, что Сам Ну пребывает и в начале, и в конце, и в середине вещей. Оттого, дабы показать, что и ваше согласуется с нашим, снова послушайте Ареопагита, который о Ну, что сам он называет «Tauton», говорит так: «То же Самое из Себя Самого изливает лучи всем, способным к причастию, соединяя одно с другим избытком и истоком тождества в Себе Самом, и противоположное тождественно предымея через единую и единственную превозвышенную причину всецелого тождества, — как царь мановением своим всё пронизает, горнее, мирское и преисподнее». И нет никакой силы на небе, и на земле, и в преисподней, которая могла бы противостоять власти сего имени; и потому Он назван «Господь сил, Ну», ибо всякая сила и могущество Ему подчинены. Вопросает пророк во псалме двадцать третьем: «Кто есть Ну,

сей Царь славы?» Отвечает дух в пророке: «Господь сил есть Ну, Он есть Царь славы вовеки». Приходит на память и другое, что вспоминаю по одному лишь напоминанию реченного имени. Ибо через Моисея, среди семи вместе освящённых имён, с «Ну» положено также «Esth» (Эш — огонь), одним связным речением, в повторении закона, которое вы называете Второзаконием, — что по-латыни именуем огнём. И потому Он чаще бывает услышан в огне, — как Авраам, Илия, Давид и прочие, о коих есть повествования, — как в деле, сообразном божеству. И Моисей видел Бога в огне, и ангелов — в пламени огненном. И божественное видение Иезекииля: было сияние огня, и из огня исходила молния. Платон также восхотел, чтобы высший Бог был в огненной сущности, — коего неблагодарный ученик Аристотель, как часто в других случаях, так и ныне порицает не без клеветы в некоей книжице, написанной к Александру, царю Македонскому, где он находит, или не столько находит, сколько перенял от индийских брахманов, что пятая сущность есть обиталище божества. «Не так, конечно, мы, — говорит, — как иные, кто, заблуждаясь о божественном, говорит, что Бог в огненной сущности». Затем старается привести свидетеля истины, а именно лучшего, чем Платон, когда прибавляет: «Ибо так и Гомер говорит: удел Юпитера — небо; в облаках восседает он в широком эфире». Лучше же, стало быть, пророк Захария, и много вернее, поскольку он из уст ангела слышал Самого Бога глаголющего: «Я буду ему, — сказал Бог,

— стеною огненною вокруг, и в честь Ehieh посреди него». О чём, дабы и Сидонию нашему польстить приведением философов, тот Плутарх, муж отменно учёный во многих искусствах, упоминает в своём собрании физических учений. «Описывают, — говорит, — познание Бога так: дух умственный и огненный, не имеющий формы, но преображающийся во что ни восхочет и уравнивающий себя со всем». Оттого Зороастр говорит: «Всё рождено от единого огня». И вы, Капнион, более того — мы, христиане (ибо не хочу оставить исповедания, которое начал), в народе называем Бога огнём, с Павлом Тарсийским, который, пиша к Евреям, говорит: «Бог есть огонь поядающий», — хотя сие имя, под некоторым отличительным свойством божества, вы благоговейно приписываете Святому Духу, чему научил Иоанн Креститель как у Марка, так и у Луки, говоря: «Я крещу вас водою в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём», — через фигуру эндиады «Духом Святым», то есть огнём, в каковом виде Он, по вознесении Христа, явился апостолам. «Весьма нравится мне, — молвит Капнион, — сие твоё изложение, поскольку немало, полагаю, согласуется с нашей верой. Прежде всего нет ничего иного, что бы я когда-либо принял с большим удовольствием, нежели то, что ты так расположил (не по человеческому, полагаю, побуждению) сии божественные имена, — что вопреки мнению многих, даже наших, коих мы венчаем богословами, ты поста-

вил первым не «Ehieh», как они полагают, но «Hu», так что порядок таков: Hu, Ehieh, Esth, — как если бы кто-то говорил о неизреченной единой Троице и троичном Единстве: Тот же еси огонь, — как о видимой природе вещей говорим: субстанция, сила, действие в одном и том же едином неделимом. И, быть может, как Орфей расположил священные гимны согласно освящённым именам», — молвит СИДОНИЙ, — «Нюкс, Уранос,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.